Анна Ахматова

ДЕСЯТЫЕ ГОДЫ



Анна Ахматова ДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

ВСЕСОЮЗНОЕ
ОБЩЕСТВО КНИГОЛЮБОВ

Анна Ахматова

ДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО МПИ
1989

ББК 84Р7
А95

Часть средств, полученных от данного издания, будет перечислена на расчетный счет «Реабилитационного центра для подростков и взрослых инвалидов с детским церебральным параличом (ДЦП)» Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома.

Послесловие *Р.Д Тименчика*

Составление и примечания *Р.Д. Тименчика* и *К.М. Поливанова*

Оформление художника *А. Белослудцева*

Ахматова А. А.

А95 Десятые годы: В 5 кн./Сост. и прим. Р.Д. Тименчика и К.М. Поливанова; Послесл. Р.Д. Тименчика. — М.: Изд-во МПИ, 1989.—288 с.

Книга содержит ранние сборники Анны Ахматовой в том виде, в какой они явились поколению начала XX века. Наряду с ними в нее включены ахматовские прозаические наброски, ее письма, свидетельства очевидцев событий 10-х — начала 20-х годов нашего столетия.

А $\frac{4702010200 - 36}{184(02) - 89}$ **Без объявл.**

ББК 84Р7
А95

ISBN 5—7043—0001—4

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Без преувеличения можно сказать, что ни у одного из русских поэтов нашего столетия не возникало такой неразрывной, двуединой, взаимозаинтересованной связи с кругом читателей, как это произошло в жизни Анны Ахматовой. Она сама сказала о Пушкине, что наш «первый поэт» вобрал в себя опыт всего своего поколения. Но то же самое наблюдение применимо и к ней. На голоса своего поколения (иногда почти беззвучные) откликались и «Четки», и «Реквием». Вот почему Ахматову, как никакого другого поэта, надо знать во всей полноте ее диалога с современниками. Она была очень внимательна к мнениям и оценке критики (иной раз преувеличенно внимательна), и многолетний разговор со своими хулителями и хвалителями, яростная самозащита и радостное согласие до сих пор слышны в ее стихах. Ей дана была возможность в старости «как с башни» окинуть взором всю прожитую жизнь и окончательно подытожить — что из сказанного о ней читателями, критиками, сверстниками-поэтами подтвердилось впоследствии, а что осталось на совести поспешных и недальновидных обозревателей. При жизни она успела прочесть, и немало, мемуаров о себе, и многие ее поздние стихотворения несут следы спора с разнообразными воспоминателями. Вот почему нам показалось уместным сопоположить архивные документы и «творимые легенды», лаконичные ахматовские прозаические наброски и бесхитростные свидетельства людей ее эпохи, волею случая ставших очевидцами событий, которые сегодня мы смело можем назвать историческими.

«Но может быть поэзия сама — одна великолепная цитата», — сказала Ахматова в афористическом четверостишии. Столь многое в ее стихах основано на подразумеваемых отсылках к поэзии ее великих предшественников и к стихам

поэтов ее эпохи. Нам показалось опять же уместным, чтобы эти перекликавшиеся, аукавшиеся друг с другом стихотворные строки встретились наконец под одной обложкой.

«... Вы, зная обстановку моей тогдашней жизни...»,— обращалась Ахматова в письме к кому-то из современников. Эту обстановку должен знать любой сегодняшний читатель Ахматовой, ибо — к сожалению для ахматовских стихов и к счастью для этого читателя — многие обстоятельства трудной истории нашей страны ему уже непонятны. Без знания этой обстановки новый читатель рискует пропустить то, что составляло самое суть поздней ахматовской поэзии, противостоявшей беспамятству, одичанию и утрате моральных ценностей. Читатель должен войти в мир Ахматовой, а мир этот состоял не только из садов и парков...

Ранние сборники Ахматовой должны хоть раз предстать перед читателем конца XX века в том виде (разумеется, без опечаток), в каком они впервые явились поколению Ахматовой и расходились на цитаты в разговорах, письмах, дневниках, критических статьях, эпиграфах, чужих стихах (поэтому сегодняшний читатель встретит здесь разночтения по сравнению с изданиями последних лет — не увидит каких-то строф, посвящений, привычных эпитетов, дат написания стихотворений). И незамедлительные отклики первых читателей должны составить их окружение, равно как и позднейшие ахматовские мемуарные заметки — часто заметки «для себя», к печати не подготовленные, перескакивающие с одной темы на другую. А еще и некоторые из ахматовских писем той поры и некоторые поворотные события эпохи, отразившиеся в переписке и дневниках современников.

Прозаические заметки Ахматовой печатались в периодике, академических сборниках, некоторые входили в состав ахматовских книг. В настоящем издании текст по возможности приближен к архивному оригиналу.

НАЧАЛО

10-й год

10-й год — год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и Комиссаржевской. 1911 г. — год китайской революции, изменившей лицо Азии, и год блоковских записных книжек, полных предчувствий... «Кипарисовый ларец».

Кто-то недавно сказал при мне: «10-ые годы самое безвкусное время». Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила: «Кроме всего прочего, это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева» *.

Конечно, в это, как и во всякое другое время, было много безвкусных людей (напр<имер>, Игорь Северянин) и дутых репутаций, — подозрительна также «слава» Брюсова (однако тогда уже она сильно померкала). По сравнению с аляповатым первым десятилетием — 10-е годы собранное и стройное время. Судьба отстригла вторую половину и выпустила при этом много крови (война 1914). Кто-то (другой) сказал мне: Те, кого вы встречали в Париже ** в 10, 11 гг. и были *последние* французы. Их всех убили под Верденом и на Марне. Потом я прочла это в «Le Sursis» Сартра.

Хороши были и те, кто в 17 г. летом поехали играть в теннис на крымские курорты. Они до сих пор не вернулись. Сильно затянувшийся game? Как страшны эти оборванные биографии.

* Начинали Мандельштам, Пастернак и Цветаева. Я уже не говорю о Маяковском и Хлебникове. Это полностью их время.

** Во Флоренц<ии> во дворце Уффици в нишах стоят статуи Данте, Петрарки, Бокач<чо>, Микель-Анджело, Леонардо. Я думала, это гол<овы> великих людей. Итальянец сказал: «Нет, это просто уроженцы Флоренции». Тоже 10-ые годы!

Свидетельство № 4379

по Указу Его Императорского Величества, из Херсонской Духовной Консистории, вследствие прошения жены отставного Капитана 2$^{\text{го}}$ ранга Инны Эразмовой Горенко и на основании определения, состоявшегося в сей Консистории 30$^{\text{го}}$ Апреля 1890 года, выдано сие свидетельство в том, что в шнуровой метрической книге Кафедрального Преображенского собора портового города Одессы, Херсонской епархии, за тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, во 1-й части о родившихся, под № 87 женс<кого> пола записан следующий акт: Июня одиннадцатого родилась, а Декабря семнадцатого крещена Анна;

родители ее: Капитан 2$^{\text{го}}$ ранга Андрей Антониев Горенко и законная жена его Инна Эразмова, оба православные. Восприемниками были: кандидат естественных наук Стефан Григориев Романенко и дочь дворянина Мария Федоровна Вальцер.

Таинство крещения совершал протоиерей Евлампий Арнольдов с псаломщиком Александром Тоболиным. Причитающийся гербовой сбор уплачен г. Одесса. 1890 года Мая 7 дня. Написанному между строк слову «собора» верить.

Член Консистории Протоиерей Евлампий Арнольдов
Секретарь
И. д. Столоначальника

\+ + +

Я родилась в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии — 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь — 23 июня (Midsummer Night). Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию я, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, сделала своим литературным именем. Родилась я на даче Саракини (Большой Фонтан, 11-ая станция паровичка) около Одессы. Дачка эта (вернее, избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли — рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю.

Когда мне было 15 лет, и мы жили на даче в Лустдорфе, проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала», — сказала она.

Набросок относится к 1957 году. В других вариантах его Ахматова отмечала, что ее сверстницей была также чилийская поэтесса Габриэлла Мистраль, а также и Адольф Гитлер. Имя владельца дачи, по-видимому, передано неправильно (вместо: Сорокини). Томас Стернз Элиот, выдающийся английский поэт XX века, родился на год раньше Ахматовой. Происхождение от Чингисхана бытовало в семейном предании.

Х. В. Горенко. Из очерка «Мать Ахматовой»

Родилась Инна Эразмовна в имении своего отца Э. И. Стогова в Тверской губернии. Когда ей было три года, умерла мать. Осталось шесть дочерей, которых воспитывал крутой, не лишенный причуд человек. Были, конечно, и гувернантки. Единственный сын за неповиновение был изгнан из дома и лишен наследства. Каждая дочь, выходя замуж по воле отца, получала 80 тысяч рублей. Потом сестры сложились и выделили брату 10 тысяч. Когда Инна Эразмовна вышла первым браком за Змунчиллу, она скрыла от отца, что поступила на Бестужевские курсы. Когда она приезжала к отцу, то пудра стиралась с лица. Все это могло вызвать неудержимый гнев.

Через несколько лет Змунчилла покончил жизнь самоубийством. Инна Эразмовна встретила и полюбила Андрея Антоновича Горенко, морского инженера. Человек необыкновенно высокого роста, очень красивый и представительный, с большим чувством юмора, властный, любящий жизнь, пользовавшийся большим успехом у женщин, Андрей Антонович поразил молодую и красивую вдову. У нее были черные до колен волосы, огромные сине-голубые глаза, полные ласки и неизъяснимой доброты, хорошего рисунка рот, ослепительный цвет лица и нос, форму которого унаследовали Аня и Виктор. Только у Ани резче выделялась «ахматовская горбинка». В старости Инна Эразмовна сохранила длинные ниже колена черные с сединой волосы и огромные добрые голубые глаза. Второй брак Инны Эразмовны не был счастливым. Увлекающийся Андрей Антонович доставлял много тяжелых переживаний своей скромной жене, посвятившей жизнь детям. Старший брат Андрей болел туберкулезом. Инна была замужем и в возрасте 25 лет умерла от туберкулеза. Ирина (Рика) умерла девочкой (не помню, сколько лет ей было). Когда Анна вышла замуж за Гумилева, Инна Эразмовна с Ией и Виктором (младшим в семье) жила в Киеве. К этому времени семья уже распалась. Андрей Антонович жил в Петербурге.

Инна Эразмовна много рассказывала мне об Андрее Антоновиче, но воспоминания ее были проникнуты горечью

из-за того, что он промотал все ее приданое в 80 тысяч, а когда оставил семью, то присылал весьма скромную сумму. <...>

В 1916 году Виктор окончил Морской корпус и сразу же был отправлен на румынский фронт в Констанцу. Революция застала его в Севастополе, откуда он уехал на Дальний Восток, не успев забежать домой и предупредить мать и сестру. До 1925 года, пока мы не наладили связь с Инной Эразмовной и Аней, Виктора считали погибшим. В 1918 году Аня написала стихотворение, посвященное его памяти:

Для того ль тебя носила
Я когда-то на руках,
Для того ль сияла сила
В голубых твоих глазах!
Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.

На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет.

Инна Эразмовна осталась в Севастополе с Ией (Юшей). Юша и Андрей были похожи друг на друга, оба смуглые с темными глазами, красивые. Виктор и Анна походили на мать. Оба сына были очень высокого роста, как отец. Красивы в семье были все. Греческая кровь сказывалась в их наружности. Андрей был женат на своей двоюродной сестре Марии Александровне, близкие называли ее «Наня». Вместе с женой и маленьким сыном Кириллом он уехал в Грецию и жил в Афинах. Плохое питание, граничащее с голодом, подорвало и без того слабое здоровье Ии. Она умерла в 1922 году от туберкулеза на руках у матери. Лечили ее от тифа. В голодный и без того год держали на строгой диете. Как плакала бедная, дорогая Инна Эразмовна, когда говорила, что у нее не было рубашки, чтобы похоронить Ию, и она завернула ее в тряпье. Аня не могла взять мать в Ле-

нинград. Ей жилось очень трудно. И Инна Эразмовна уехала к своей старшей сестре Анне Эразмовне Вакар. Крестьяне чтили Анну Эразмовну, считали ее почетной гражданкой их села и разрешили ей с мужем жить в бывшей сторожке лесника.

Автор воспоминаний — Хана Вульфовна Горенко (1896—1979) — жена брата Ахматовой Виктора Горенко (1896—1976). С матерью Ахматовой Инной Эразмовной Горенко (1856—1930) она жила на Сахалине в 1925—1929 годах. Копия воспоминаний Х. В. Горенко была предоставлена ею составителю.

А. А. Горенко

В Петрограде на днях скончался некогда популярный на юге общественный деятель Андрей Антонович Горенко.

Уроженец Севастополя, А. А-ч служил на флоте сначала инженер-механиком, а затем в чине лейтенанта состоял преподавателем морских юнкерских классов в Николаеве, причем был ближайшим сотрудником «Николаевского вестника» во время редактирования той газеты высокопросвещенным моряком капитан-лейтенантом А. Н. Юрковским.

Из Николаева А. А. Горенко был переведен в Петроград преподавателем пароходной механики в морской корпус и одно время исполнял должность инспектора корпуса.

Здесь он впал в немилость у начальства вследствие обнаружившегося его знакомства с «народниками», вынужден был оставить службу в Петрограде и определен был в качестве флотского офицера на суда Черноморского флота для выполнения морского ценза.

По выполнении ценза А. А. Горенко вновь переселяется в Петроград. Здесь прежде всего он читает ряд докладов в Вольно-Экономическом об-ве о деятельности Русского общества пароходства и торговли. Доклады эти произвели много шума в Обществе, а вместе с тем и недовольство А.А-чем в правящих кругах. Он оставил службу и ему пришлось утешаться лишь тем, что выводы из его докладов положены были в основу тогда пересматривавшегося устава этого крупнейшего на юге акционерного предприятия. Впо-

следствии мы встречаем А. А. Горенко служащим в государственном контроле. Здесь он быстро поднимается по иерархической лестнице и, наконец, занимает пост генерал-контролера.

Однако стремление к морю не покидает А.А-ча. Торговое мореплавание — это его сфера. Он много работал над ее вопросами. Он покидает государственный контроль и назначается членом совета Августейшего Главноуправляющего торговым мореплаванием, причем в его непосредственное ведение поступают порты Юга. Он объезжает эти порты, знакомится с их нуждами и вообще проявляет в этой области бурную деятельность.

Однако «ничто не вечно под луною»: и эту деятельность он должен был оставить. Он вышел в отставку и занял скромное амплуа заведующего статистическим отделом Петербургского городского общественного управления.

Служа в Петрограде, А. А. Горенко никак не порывал связей с югом. Городские общественные управления Николаева и Севастополя часто прибегали к нему и всегда находили в нем заступника своих интересов, ходатая об их нуждах.

Некролог появился в газете «Одесский листок» 7 сентября 1915 года за подписью «В. Л.»,— возможно, автором его был историк литературы В. Ф. Лазурский. Августейший начальник Андрея Антоновича — великий князь Александр Михайлович. Как вспоминала Ахматова, отец с ним «не сошелся характером» и подал в отставку. Об Андрее Антоновиче как преподавателе Морского корпуса вспоминают кораблестроитель академик А. Н. Крылов в своей автобиографической книге и М. Каменецкая в мемуарном очерке о Достоевском.

Из книги «Деятели революционного движения в России»

Горенко Андрей Антонович, сын капитана флота, брат Анны Горенко. В военной службе с 1864 г. Лейтенант флота с 1 января 1879 г. <...> В 1880 г. при обыске в Николаеве у чиновника Яценко были обнаружены письма Горенко

1877 г. «вредного направления». В марте 1881 г. ввиду доноса, обвинявшего его в политической неблагонадежности, был подчинен в Петербурге негласному наблюдению. В сентябре 1881 г. безрезультатно обыскан и отрешен от должности преподавателя, а при департаменте полиции было возбуждено производство «по исследованию его вредного направления». Ввиду отсутствия данных к его обвинению дело о нем прекращено без всяких последствий. С 1882 г. вследствие ходатайства о возвращении на прежнюю должность поступил снова во флот. В начале 1890-х гг.— чиновник особых поручений при государственном контроле. В начале 1900-х гг.— статский советник, чиновник особых поручений при главном управлении торгового пароходства и портов.

В справке из книги «Деятели революционного движения в России» (1934, т. 3, вып. 2, с. 904) упоминается Анна Антоновна Горенко, участница народовольческого кружка. Занималась конспиративной деятельностью и другая сестра Андрея Антоновича — Евгения Арнольд.

\+ + +

Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех остальных детей в мире: с страшными отсветами в какую-то несуществующую глубину, с величавыми предсказаниями, которые все же как-то сбывались, с мгновеньями, которым было суждено сопровождать меня всю жизнь, с уверенностью, что я не то, за что меня выдают, что у меня есть еще какое-то тайное существование и *цель*.

\+ + +

Языческое детство. В окрестностях этой дачи («Отрада», Стрелецкая бухта, Херсонес) — получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в открытом море, купалась во время <шторма> и загорала до того, что у нее сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень.

Непосредственно отсюда античность — эллинизм. В царскосельских парках тоже античность, но совсем иная (статуи, храмы ...).

\+ + +

В Ц<арском> С<еле> делала все, что полагалось в то время благовоспитанной барышне. Умела, сложив по форме руки, сделать реверанс, учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на Страстной в гимназической церкви. Изредка родители (отец) брали ее с собой в оперу (в гимназическом платье) в Мариинский театр (ложа Грота). Бывала в Эрмитаже, в Музее Ал<ександра> III-го. Весной и осенью в Павловске на музыке — Воксал. Зимой часто на катке в парке.

Читала много и постоянно. Большое (по-моему) влияние

на нее оказал тогдашний властитель дум Кнут Гамсун («Пан», «Загадка и тайна», «Виктория»). Меньше другой властитель — Ибсен; однако — «Женщина с моря». Училась в младших классах плохо — потом хорошо. Гимназией всегда тяготилась. В классе дружила только с Тамарой Костылевой, с которой не пришлось больше встретиться в жизни.

Одним из стимулов к писанию автобиографических заметок была работа Ахматовой над редактированием воспоминаний ее подруги В. С. Срезневской. Поэтому ряд мемуарных набросков написаны по инерции как бы от лица Срезневской и Ахматова появляется в них в третьем лице.

Валерия Срезневская. Из воспоминаний

<...> С «Колей Гумилевым», тогда еще гимназистом VII кл., Аня познакомилась в 1903 году под Рождество. Мы вышли из дому — Аня и я с моим братом Сережей — прикупить какие-то милые украшения для елки, которая у нас всегда бывала в тот день Рождества.

Был чудный солнечный день. Около Гостиного двора мы встретились с «мальчиками Гумилевыми», Митей (старшим, тогда морским кадетиком) и Колей-гимназистом. Я с ними была раньше знакома через общую учительницу музыки, Елизавету Михайловну Баженову, которая учила музыке и меня, и Гумилевых и ввела в наш дом своего почему-то ей понравившегося старшего Митю и уже намного позже познакомила меня с Колей. Встретив их на улице, мы уже дальше пошли — я с Митей, Аня с Колей за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно, — он не имел никаких достоинств в моих глазах. Но, очевидно, не так отнесся Николай Степанович к этой встрече.

Я часто, возвращаясь из гимназии, видела, как он маячил вдали в ожидании появления Ани.

Он постарался познакомиться с Аниным старшим братом

Андреем, постарался проникнуть в их довольно замкнутый дом.

Ане он не нравился — вероятно оттого, что в этом возрасте девочки мечтают о разочарованных молодых людях старше 25 лет, познавших уже много запретных плодов и пресытившихся их пряным вкусом.

Но уже тогда Коля не любил отступать перед неудачами. Он не был красив,— в этот ранний период он был несколько деревянным, очень высокомерным с виду — и очень неуверенным в себе внутри. Он много читал, любил французских символистов, хотя не очень свободно владел французским языком, однако вполне достаточно, чтобы читать, не нуждаясь в переводе. Он был высок ростом, худощав, с очень красивыми руками, несколько длинным бледным лицом, без особых примет,— я бы сказала, не очень заметный, но не лишенный элегантности наружности,— блондин, каких у нас на севере можно часто встретить. Позже, возмужав и пройдя суровую кавалерийскую военную школу, он сделался лихим наездником, обучавшим молодых солдат, храбрым офицером (он имел два Георгия за храбрость), подтянулся и, благодаря своей очень хорошей длинноногой фигуре и широким плечам, был очень приятен и даже интересен, особнно в мундире.

А улыбка и несколько насмешливый, но милый и не дерзкий взгляд больших, несколько пристальных, чуть косящих глаз просто мог понравиться и нравился многим и многим.

Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая «р» и «л», что придавало его говору совсем не безобразное своеобразие, отнюдь не похожее на косноязычие. Мне нравилось, как он читал стихи; он часто бывал у нас, когда я уже была замужем, очень дружил с моим мужем, и по старой памяти и со мною, и мы много и часто просили его читать стихи.

Но вернемся к первой юности. В 1905 году Горенко уехали из Царского Села по семейным обстоятельствам, и этот очень короткий промежуток наших жизней держался только на переписке, к сожалению, затерянной нами в течение потрясений наших нелегких судеб. Аня никогда не писала о любви к Гумилеву, но часто упоминала о его настойчивой привязанности — о неоднократных предложениях брака

и своих легкомысленных отказах и равнодушии к этим проектам.

В Киеве у нее были родственные связи, кузина, вышедшая позже замуж за Аниного старшего брата Андрея; она, кажется, не скучала. Николай Степанович приезжал в Киев, и вдруг в одно прекрасное утро я получила извещение об их свадьбе. Меня это удивило.

Вскоре приехала Аня. Она сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничто в ней не изменилось, и даже нет какого-то часто встречающегося у новобрачных желания поговорить о своей судьбе... как будто это событие не может иметь ни для нее — ни для меня — какого бы то ни было значения.

Мы много и долго говорили на разные темы, она читала стихи,— гораздо более женские и глубокие, чем раньше,— в которых я не нашла образа Коли,— как вообще в последующей ее лирике, где скупо и мимолетно можно найти намеки на ее мужа,— в отличие от лирики Гумилева, где властно и неотступно, до самых последних дней его жизни, маячит образ его жены, сквозь все его увлечения и разнообразные темы. То русалка, то колдунья, то просто женщина, таящая «злое торжество».

И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Это стихотворение стоит того, чтобы его полностью процитировать в подтверждение моих — всегда основанных не только на впечатлениях, но и на признаниях и фактах — высказываний.

Конечно, они оба были слишком свободными и большими людьми для пары воркующих «сизых голубков»... Их отношения были скорее тайным единоборством — с ее стороны для самоутверждения как свободной женщины, с его стороны — с желанием не поддаться никаким колдовским чарам и остаться самим собой, независимым и властным... увы, без власти над этой вечно ускользающей от него, многообразной и не подчиняющейся никому женщиной. Если говорить о любви — я не совсем понимаю, что разные люди этим словом хотят сказать?! — но если любовь — это навяз-

чивый и иногда любимый, а иногда ненавидимый образ — и всегда один и тот же,— то смею определенно сказать, что если была любовь у Николая Степановича — а она, с моей точки зрения, сквозь всю его жизнь была,— то это была Ахматова. Оговорюсь: я думаю, что в Париже, может быть, была еще так называемая «Синяя звезда» — во всяком случае (нежность ведь тоже любовь?) «Синяя звезда» была тоже им любима — и очень нежно. Остальное — как бы это ни называлось — вызывало у него улыбку, не без иронии, и шутливый тон.

Но разве существует на свете моногамия для мужчин?

Я помню, раз (мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах женщин и мужчин) он сказал: «Я знаю только одно: что настоящий мужчина полигамист, а настоящая женщина моногамична».— «А вы такую женщину знаете?» — спросила я.— «Пожалуй, нет, но думаю, что она есть»,— смеясь ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что это больно, не сказала ему. У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца — я-то это знаю, как, вероятно, никто,— но Николай Степанович — отец ее единственного ребенка! — занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно, может быть и необычно — но это так.

Великий сердцевед Л. Н. Толстой отметил эту черту в Анне Карениной...

Но не надо аналогий... они ни к чему. Люди очень различны, в этом повинны жизнь и время.

И несмотря на то, что часто в больших и сложных биографиях всегда звучит тема «роковой любви» — и Байрона, Пушкина, Тютчева, Блока и даже Лермонтова,— не будем до поры до времени трогать ее!

А пожалуй, у меня есть что сказать о ней. Так уж мне удалось вчитаться в чужие жизни.

Могу сказать еще то, что я знаю очень хорошо: Гумилев был нежным и любящим сыном, любимцем своей умной и властной матери, несомненно радовался, что сын растет под крылом, где ему самому было так хорошо и тепло. Не берусь оспаривать, где он был в момент рождения сына; отцы обычно не присутствуют при этом, и святые отцы должны лучше меня знать, что если им и удалось соблазнить

своих приятелей сопровождать их в место своих обычных увеселений, то это нисколько не мешает тому, что эти приятели коротают это тревожное время выпивая, и заглушают внутреннюю тревогу не совсем понятным способом...

Мне думается, что Гумилев — подвернись другой приятель, менее подверженный таким «весельям»,— мог поехать в монастырь, мужской или женский, и отстоять монастырскую вечерню с переполненным умилением сердцем.

Знаю, что он звонил в клинику, где лежала Аня (самую лучшую тогда клинику проф. Отта — очень дорогую и очень хорошо обставленную, на Васильевском острове), и затем, по окончании всей этой эпопеи, заехал за матерью своего сына и привез их обоих в Царское Село, к счастливой бабушке, где мы в те дни обедали с мужем и пили шампанское за счастливое событие... и все как полагается, и поздравляли и видели, что все, кроме злой, завистливой и чрезвычайно неумной Шуры Сверчковой, искренне радовались и были, по-видимому, в полном согласии.

А что большой поэт — а и Гумилев, и Ахматова были ими — имеет много граней жизни и внутри и снаружи, много оттенков света и даже и тьмы внутри — разве думающий и понимающий всю сложность всякого настоящего интеллекта может оспаривать это?

Смею высказать еще одну продуманную до конца мною мысль: не признак ли это мужского характера — совмещать в себе много крайностей, иногда совершенно полярных,— и все же над ними иметь какое-то свое глубокое чувство единого, самого заветного, самого нужного — одного? А факты — это только внешние свидетели, отданные во власть толкования по мере самого толкователя.

Они должны быть точны — все, что от них можно требовать.

Рождение сына очень связало Анну Ахматову — она первое время сама кормила сына и прочно обосновалась в Царском.

Не думаю, что тогда водились чудаки-отцы, катающие колясочки с сыном,— для этого были опытные няни,— но Коля был, как все отцы: навещал своего сына всякий раз, как это было возможно,— и, конечно, был не хуже, если не лучше, многих образцовых отцов <...>.

Понемногу и Аня освобождалась от роли матери в том понятии, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке — там были бабушка и няня,— и начала свою обычную жизнь литературной богемы.

Ни у того, ни у другого не было каких-либо поводов к разлуке или разрыву отношений, а очень тесного общения вне поэзии — да и то так различно понимаемой — тоже не было.

У Ахматовой под строками всегда вполне конкретный образ, вполне конкретный факт, хоть и не названный по имени; у Гумилева всегда мечта и фантазия, за которой только близкий знающий человек может видеть причину чувств, родивших эту мечту и фантазию.

И, как всегда, реальность принимает причудливые формы, ощущения разрастаются до пределов галлюцинаций и ведут к бесконечнюму... и часто к ощущению смерти — так часто присутствующей в поэзии Гумилева — и рождают тоску по неизведанному, куда-то влекут — и поэт уходит за ними в мечты о неизвестных ему краях и встречах, и вот тревожные строки полнозвучных стихов завораживают слушателя или читателя:

Я тело в кресло уроню —
Я свет руками заслоню
И буду думать долго-долго...

Гумилев поэт раздумий и предчувствий. Может быть, в этом жутком мире он если не знал, то провидел свою трагическую судьбу? <...>

Воспоминания ближайшего друга Ахматовой Валерии Сергеевны Срезневской (1888—1964) существуют в нескольких вариантах. Данный фрагмент печатается по тексту, опубликованному в «Вестнике русского христианского движения» (Париж, 1986, № 146). Оценки мемуаристки, по-видимому, в ряде случаев резко субъективны, например, характеристика единокровной сестры Гумилева Александры Степановны Сверчковой (1869—1952), но позиция ее в большинстве случаев солидарна с ахматовской. Так, она полемизирует с воспоминаниями Сергея Маковского, имея в виду тот же эпизод, который вызвал возмущение Ахматовой: «Зимой того же (1912-го) года родился у них сын, крещен Львом. Тяжелые роды

прошли ночью в одной из петербургских клиник. Был ли доволен Гумилев этим «прибавлением семейства»? От его троюродного брата Д. В. Кузьмина-Караваева (в священстве отца Дмитрия) я слышал довольно жуткий рассказ об этой ночи. Будто бы Гумилев, настаивая на своем презрении к «брачным узам», кутил до утра с троюродным братом, шатаясь по разным веселым учреждениям, ни разу не справился о жене по телефону, пил в обществе каких-то девиц. По словам отца Дмитрия, все это имело вид неуемно-самолюбивой позы, было желанием не быть, «как все»... (*Новый журнал*, Нью-Йорк, 1964, № 77).

В тексте упоминаются брат Гумилева — Дмитрий Степанович (1884—1922), брат Ахматовой Андрей Андреевич (1886—1920) и Елена Карловна Дюбуше («Синяя звезда»). Стихотворение Гумилева, которое хотела привести целиком мемуаристка — «У камина»:

Наплывала тень... Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один,

Неподвижный взор устремляя вдаль,
Горько говоря про свою печаль:

«Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;

Цепи грозных гор, лес, а иногда
Странные вдали чьи-то города.

И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.

Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.

Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река,

И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна;

Я узнал, узнал, что такое страх,
Погребенный здесь в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны»...

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

\+ + +

Запахи Павловского Вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый — дым от допотопного паровозика, который меня привез — Тярлево, парк, salon de musique (который называли «соленый мужик»), второй — натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий — земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый — резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. А еще призрак Настасьи Филипповны. Царское — всегда *будни*, потому что *дома*, Павловск — всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко (?) от дома. И Розовый Павильон — Pavillon de roses. Я как Птишоз с его женским монастырем, в который превратился его рай — его бумажная фабрика.

Ахматова сравнивает себя с героем повести Альфонса Доде «Малыш».

\+ + +

Дом купчихи Ев<докии> Ив<ановны> Шухардиной второй от вокзала — на углу Безымянного переулка, который зимой был занесен глубоким снегом, а летом пышно зарастал сорняками-репейниками, из которых А. в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великанами лопухами. Тополя. (Цитата из «Ивы»), ветхий дощатый забор тянулся с одной стороны. Дом зеленого цвета, деревянный, довольно ветхий. С конца 18 в. бывший трактир. В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны тоже в полуподвале мастерская сапожника —

вывеска:

сапожник
Б. Неволин

В этом доме прошла почти вся жизнь А. (за малыми исключениями) до 16 лет, потому я его так подробно описываю. Анина комната: окно на Безымянный переулок, железная кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном подсвечнике. (Электричества еще не было). В углу — икона. Никакой попытки скрасить суровость обстановки — безд<елушек>, выш<ивок>, отк<рыток>. И летом в открытое окно виден сам сапожник. Он в зеленом переднике с мертвенно бледным лицом запойного пьяницы. Из окна несет зловонье сапожной мастерской. Всего этого давным-давно нет — на месте переулка и Широкой ул. разведен Привокзальный сквер (после войны 41—45 гг.). Г<оренко> уехали из этого дома весной 1905 г., и его стали переделывать для какого-то земского или гор<одского> учреждения *. Их всех вместе больше никогда не видела. Г<оренко> поселились на Бульварной в великолепной квартире (дом Соколовского), но, как всегда бывает, тут все и кончилось. А<ндрей> А<нтонович> вышел в отставку и отправил детей с Моникой в Евпаторию. Семья распалась. Через год умерла Инна.

* Вернувшийся осенью из Березок Н<иколай> С<тепанович> был очень огорчен, когда увидел, что этот дом перестраивают. Он после говорил А., что *тогда* он в первый раз в жизни почувствовал, что не всякая перемена — к лучшему. Не туда ли он заехал в своем страшном «Заблудившемся трамвае»:

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон.

Цитата из стихотворения Ахматовой «Ива» (1940), предполагавшаяся здесь:

Я любила лопухи и крапиву.

\+ + +

А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор мальчиков пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов.

\- - - несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме»...

И мне (потом, когда я вспоминала эти зрелища) всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего девятнадцатого века. Так хоронили в 90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце — было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным.

Во втором абзаце наброска Ахматова оставила место для подлежащего в первой фразе, с тем чтобы впоследствии вписать точное слово.

\+ + +

Напротив (по Широкой) была в 1-м этаже придворная фотография Ган, а во втором жила семья художника Клевера. Клеверы были не царскоселы, жили очень уединенно и в сплетнях унылого и косного общества никакого участия не принимали. Для характеристики «Города Муз»: царскоселы (включая историограф<ов> Голлерб<аха> и Рожд<ественского>) даже понятия не имели о том, что на Малой ул<ице> в доме Иванова умер великий русский поэт

Тютчев. Не плохо бы хоть теперь (пишу в 1959 г.) назвать эту улицу именем Тютчева.

Дом Анны Ивановны Гумилевой стоял тоже на Малой (63). Но мне не хочется его вспоминать, как Шухардинский дом, и я никогда не вижу его во сне, хотя жила в нем с 1911 <по> 1916 и никогда не перестану благословлять судьбу за то, что не осталась в нем во время Революции.

Людям моего поколения не грозит печальное возвращение — нам возвращаться некуда. Нет Севастополя и дачи Тур, нет Слепнева, Подобина, Березок (имения А. И. Гумилевой, В. К. Неведомского и Кузьминых-Караваевых), нет Царского Села, нет Павловска. Странно, что еще есть Париж. Но это уже давно не тот Париж, который я видела в 1910—11 гг. Или Париж всегда равен сам себе? Plus ç'a change plus c'est la meme chose[1]...

Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского Вокзала (когда так пустынно и душисто в парках) на те места, где тень безутешная ищет меня, но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врываться (да еще в бензинной жестянке) в хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас.

Город

О «красоте» Петербурга догадались художники-мирискусники, которые, кстати сказать, открыли и мебель красного дерева. Петербург я начинаю помнить очень рано — в девяностых годах. Это, в сущности, Петербург Достоевского. Это Петербург дотрамвайный, лошадиный, коночный, грохочущий и скрежещущий, лодочный, завешанный с ног до головы вывесками, которые безжалостно скрывали архитектуру домов. Воспринимался он особенно свежо и остро после тихого и благоуханного Царского Села. Внутри Гостиного двора тучи голубей, в угловых нишах галерей

---

[1] Чем более он меняется, тем более остается самим собой *(фр.)*.

большие иконы в золоченых окладах и неугасимые лампады. Нева — в судах. Много иностранной речи на улицах.

В окраске домов очень много красного (как Зимний), багрового, розового и совсем не было этих бежевых и серых колеров, которые теперь так уныло сливаются с морозным паром или ленинградскими сумерками.

Тогда еще было много великолепных деревянных домов (дворянских особняков) на Каменноостровском проспекте и вокруг Царскосельского вокзала. Их разобрали на дрова в 1919 году. Еще лучше были двухэтажные особняки XVIII века, иногда построенные большими зодчими. «Плохая им досталась доля» — их в 20-х годах надстроили. Зато зелени в Петербурге 90-х годов почти не было. Когда моя мама в 1927 году в последний раз приехала ко мне, то вместе со своими народовольческими воспоминаниями она невольно припомнила Петербург даже не 90-х, а 70-х годов (ее молодость), она не могла надивиться количеству зелени. А это было только начало! В 19 в. это был гранит и вода.

Дальше о городе

Три замечания

I. Сейчас с изумлением прочла в «Звезде» (статья Льва Успенского), что Мария Федоровна каталась в золотой карете. Бред! — Золотые кареты, действительно, были, но им полагалось появляться лишь в высокоторжественных случаях — коронации, бракосочетания, крестин, первого приема посла. Выезд Марии Федоровны отличался только медалями на груди кучера.

II. Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100?.. Глазам не веришь, когда читаешь, что на петербургских лестницах всегда пахло жженым кофе. Там часто были высокие зеркала. Ни в одном респектабельном петербургском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов проходящих дам и сигар проходящих господ. Товарищ, вероятно, имел в виду так называемый «черный ход» (ныне, в основном, ставший един-

ственным) *— там, действительно, могло пахнуть чем угодно, потому что туда выходили двери из всех кухонь. Например, блинами на Масляной, грибами и постным маслом в Великом посту, невской корюшкой — в мае. Когда стряпали что-нибудь пахучее, кухарки отворяли дверь на черную лестницу — «чтобы выпустить чад» ** (это так называлось), но все же черные лестницы пахли, увы, чаще всего кошками.

Звуки в петербургских дворах. Это, во-первых, звук бросаемых в подвал дров. Шарманщики («пой, ласточка, пой, сердце успокой...»), точильщики («точу ножи, ножницы...»), старьевщики («халат, халат»), которые всегда были татарами. Лудильщики. «Выборгские крендели привез» (гулко в дворах-колодцах).

Дымки над крышами. Петербургские голландские печи. Петербургские камины — покушение с негодными средствами. Петербургские пожары в сильные морозы. Колокольный звон, заглушаемый звуками города. Пушка. Барабанный бой, мне всегда напоминающий казнь. (Александр II). Санки с размаху о тумбу на горбатых мостах, которые теперь почти лишены своей горбатости. Последняя ветка на островах всегда напоминала мне японские гравюры. (На стрелке). Лошадиная обмерзшая в сосульках морда почти у вас на плече.

Два Петербурга у Пушкина. 1-ый — милый желанный город увиден глазами ссыльного юноши. (Цель, мечта). Это Петербург I гл. «Онегина». И Петербург «Пиковой Дамы» и «Медного Всадника» — мрак.

III. Вечером вуали носили только проститутки.

* С февраля 17 г., когда почему-то закрыли все «парадные подъезды» и лет 30 не открывали. На глухих улицах застряли <надписи> «Парадный ходъ закрытъ» с твердым знаком.

** Зато какой был запах мокрой кожи в извозчичьей пролетке с поднятым верхом во время петербургского дождя. Я почти что все «Четки» сочинила в этой обстановке, а дома только записывала готовые стихи.

\+ + +

С конца XIX века (т. е. за 60 лет) меньше всего изменилась одежда и больше всего способы передвижения.

Человек (в особенности бедно одетый) может кое-как надеть костюм и пальто 90-х годов, но выехать на шарабане вместо «Победы» или «Москвича» — невозможно.

Мне было 10 лет, и мы жили (одну зиму) в доме Дауделя (угол Средней и Леонтьевской в Царском Селе). Живущий где-то поблизости гусарский офицер выезжал на своем красном и дикого вида автомобиле, проезжал квартал или два — затем машина портилась, и извозчик вез ее с позором домой. Тогда никто не верил в возможность автомобильного и тем более воздушного сообщений.

Когда (в прошлом году) ставили в кино горьковскую «Мать», никому не пришло в голову справиться, как в самом деле одевались участницы революционного движения того времени и нарядили их в парижские модельки 60-х, кажется, годов.

Очень интересно было бы посмотреть, как барышня в таком виде пришла бы агитировать рабочих и что бы они ей сказали. Я пробовала протестовать, но Алеша Баталов, который играл Павла, только рукой махнул: «Ну, это вы одна помните».

Почему я одна?

Ариадна Тыркова-Вильямс. Тени минувшего

Вокруг Башни

...Первые два десятилетия новой поэзии были годами урожайными. Один перечень имен чего стоит: Бальмонт, Валерий Брюсов, Балтрушайтис, Зинаида Гиппиус, Макс Волошин, Александр Блок, Андрей Белый, Федор Сологуб, Вячеслав Иванов, Анна Ахматова, Гумилев. Это еще далеко не полное перечисление. Такого обилия стихотворных талантов Россия не знала со времени Пушкина. Но если он был признанным диктатором в тогдашней республике поэтов, если Вяземский мог назвать его — «поэтической дружины

славный вождь и исполин»,—то в наше время не было такого незыблемого поэтического авторитета, такого гениального водителя, неоспоримого поэтического полководца. Самое широкое признание выпало на долю Блока, но и вокруг его имени кипели споры. Он и по природе своей не был водителем. Подражать ему было невозможно, а воли к власти, хотя бы и литературной, к которой так явно стремился Брюсов, к которой так осторожно подбирался Вячеслав Иванов, у Блока не было.

Поэты разбивались на кружки. В каждом был свой учитель. До революции 1905 г. верховными судьями были Мережковские. Зинаида Гиппиус, благодаря своему редкому литературному вкусу и чутью, своему тонкому, ритмическому слуху, имела заслуженное влияние на молодых поэтов. Даже Блок прислушивался к голосу Антона Крайнего. Так подписывала Зинаида свои блестящие литературные наброски. Но Мережковских напугала сначала революция, с которой они сперва очень кокетничали, потом крутые правительственные меры против революционеров. Они уехали в Париж, а когда через несколько лет вернулись, юные поэты уже сидели в Башне, у ног другого учителя, Вячеслава Иванова. Между 1906-14 гг. дом Ивановых стал для поэтов главным сборным местом, своего рода капищем. Хозяин исполнял роль жреца, то Аполлона, то Диониса, а м. б. и еще каких-то, более темных, богов.

Жили Ивановы в многоэтажном доме на Таврической улице, напротив Таврического дрвоца. Занимали большую квартиру под самой крышей. Потолки были низкие, срезанные, как в мансарде. Была у них круглая, угловая комната, оттуда и пошло название Башни. Говорили, что из ее окон видно взморье. Я взморья не видала, у Ивановых бывала только по вечерам, на их многолюдных средах. Мне казалось, что в их кругозоре тоже было что-то срезанное, давящее, как в их потолках.

Бывать в Башне по средам считалось почетным. Это был своего рода диплом на принадлежность к верхушкам интеллигенции. Теперь бы сказали, к элите.

С тех пор, как я, в начала 40-х годов, стала писать воспоминания, о Башне напечатано много разных заметок. Это вполне естественно. С Башней связана одна из страничек

русской литературы. Сейчас еще трудно дать ей исчерпывающую оценку. Но в Башне перебывали почти все талантливые писатели той талантливой эпохи. Общий дух этих сред очень показателен для короткого отрезка времени, который начался перед первой русской революцией 1905 г. и оборвался с первой мировой войной 1914 г. <...>

Из поэтесс, читавших свои стихи в Башне, ярче всего запомнилась Анна Ахматова. Пленительная сила струилась от нее, как и от ее стихов.

Тонкая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану. Нос с горбинкой, темные волосы, на лбу подстрижены короткой челкой, на затылке подхвачены высоким испанским гребнем. Небольшой, тонкий, не часто улыбавшийся рот. Темные, суровые глаза. Ее нельзя было не заметить. Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с величавой уверенностью художницы, знающей себе цену. А перед Блоком Анна Ахматова робела. Не как поэт, как женщина.

В Башне ее стихами упивались, как крепким вином. Но ее темные глаза искали Блока. А он держался в стороне. Не подходил к ней, не смотрел на нее, вряд ли даже слушал. Сидел в соседней полутемной комнате.

Анна Ахматова изредка ко мне заходила. Такие, как она, своеобразные, волевые женщины, легче разговаривают с мужчинами. Но у нее сохранились обо мне полудетские царскосельские воспоминания. В самом конце XIX века я год прожила в Царском Селе и там познакомилась с ее семьей. Анна была тогда гимназисткой. Она с любопытством прислушивалась к разговорам старших обо мне. Это было еще до моего писательства, но около молодых женщин, если они не уроды, вьются шепоты и пересуживания.

— Я вас в Царском и на улице все высматривала,— рассказывала она мне.— Папа вас называл Ариадна Великолепная. Мне это слово ужасно нравилось. Я тогда же решила, что когда-нибудь тоже стану великолепная...

Она имела право сказать:

— Вот так и вышло. Только я вас перегнала...

По благовоспитанности своей она никогда мне этого не сказала.

Странная это была семья, Горенко, откуда вышла Анна Ахматова. Куча детей. Мать богатая помещица, добрая, рассеянная до глупости, безалаберная, всегда думавшая о чем-то другом, может быть, ни о чем. В доме беспорядок. Едят когда придется, прислуги много, а порядка нет. Гувернантки делали, что хотят. Хозяйка бродит, как сомнамбула. Как-то, при переезде в другой дом, она долго носила в руках толстый пакет с процентными бумагами на несколько десятков тысяч рублей и в последнюю минуту нашла для него подходящее место — сунула пакет в детскую ванну, болтавшуюся позади воза. Когда муж узнал об этом, он помчался на извозчике догонять ломового. А жена с удивленьем смотрела, чего он волнуется, да еще и сердится.

Горенко служил, насколько помню, в Государственном Контроле, дослужился до чина действительного статского советника. Был хороший чиновник и очень неглупый человек. Любил пожить. Ухаживал, и не без успеха, за всеми хорошенькими женщинами, которых встречал. Был большой театрал. Как-то сказал мне:

— Я человек не завистливый, а вот тем, кто может у Дузе ручку поцеловать, страшно завидую...

Это мне понравилось. Я сама, когда видела Дузе, совершенно растворялась в ее победоносной гениальности.

Анна унаследовала от отца его важную осанку и выразительное лицо. Не было в ней его жизнерадостности. А жадность к жизни отцовская, пожалуй, и была. В нем не было и тени той поэтической сосредоточенности, которой Анна была обвеяна. По какому закону наследственности из этой семьи вышла такая умница, такая оригинальная, глубоко талантливая и прелестная женщина?

Горенко-отец таланта дочери не ценил. Она рассказывала мне, что когда под первым своим напечатанным стихотворением она подписала — Анна Горенко, отец вскипел и устроил дочери сцену:

— Я тебе запрещаю так подписываться. Я не хочу, чтобы ты трепала мое имя.

Тогда она стала Анна Ахматова и этот псевдоним вписала

в лучшие страницы русской поэзии. Не отказалась от него и позже, когда вышла замуж за Гумилева.

Я их вместе не видала. Гумилев шел своей дорогой, она своей. Их пути пролегали в стороне от поэтов Башни, в особенности в стороне от Вячеслава Иванова. Анна Ахматова не смешивалась с поэтической толпой, плыла, как звезда первой величины, среди мелких созвездий.

В Башне с ее утонченным эстетизмом было что-то неладное. Клубилась по углам темнота, просачивались нездоровые флюиды. Это шло не от простодушной, по старине преданной мужу Зиновьевой-Аннибал, а от самого Вячеслава. Я около него испытывала то, что Гоголь описывает в «Майской ночи», где ведьму узнают по тому, что сердце у нее не прозрачное, как у других русалок, а черное. Такое черное внутреннее пятно чудилось мне в сердце этого наставника поэтов.

Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869—1962), которую Ахматова в 1965 г. вспомнит в очерке о встречах с Александром Блоком, была не только критиком и беллетристкой, но и видной деятельницей кадетской партии. В этом фрагменте из ее воспоминаний, печатавшихся в «Возрождении» (Париж, 1955, № 41), содержатся некоторые неточности. Первое стихотворение Ахматовой увидело свет за подписью «Анна Г.» в редактировавшемся Гумилевым парижском журнале «Сириус» (1907); Инна Эразмовна вряд ли могла быть названа «богатой помещицей»; Ахматова появилась на башне Вяч. Иванова в 1911 году, когда «среды» сменились менее людными «понедельниками». Отношение к Вяч. Иванову как к личности демонической у Тырковой и Ахматовой совпадало.

\+ + +

Непременно, 9 января (там где про Ив. Вас. С.) и *Цусима* — потрясение на всю жизнь, и так как первое, то особенно страшное.

В одном из вариантов автобиографии Ахматова пишет: «Я вспоминала, как дрожали руки у студента репетитора, когда он приехал зимой в Царское Село и рассказывал о 9 января». Репетитор брата — Иван Васильевич Селиверстов (1882—1942). Был близок к революционному движению, сидел в «Крестах». В 1920-х годах — один из основателей Нижегородской радиотехнической лаборатории. Умер в блокаду, похоронен в общей могиле.

2—583

\+ + +

Конечно, никто, вероятно, и не ждет, что у нас был тогда «абсолютный вкус». До Надсона и Вербицкой мы, правда, не докатились, но весьма модного среди молодежи Апухтина почитывали и проглатывали без особого отвращения тогдашние французские романы вроде Бурже, Прево, Жип. (Я имею в виду 900-е годы, в 10-х все уже было иначе).

\+ + +

Когда Инн <окентию> Федоров <ичу> Анненскому сказали, что брат его belle-fille Наташи (Штейн) женится на старшей Горенко, он ответил: «Я бы женился на младшей». Этот весьма ограниченный комплимент был одной из лучших драгоценностей Ани.

Кстати сказать, отъезд Аниной семьи из Царского (1905) спас ее от более или менее явной травли со стороны озверелых царскоселов, кот <орую> пришлось пережить Гумилеву. В этом страшном месте все, что было выше какого-то уровня — подлежало уничтожению. Об этом прекрасно пишет в своих неизданных мемуарах Н. Н. Пунин, почти не говорит ныне разоблаченный Всеволод Рождественский, и об этом, по-видимому, не подозревали ни Голлербах, ни Оцуп.

О таком огромном, сложном и важном явлении конца 19<-го> и начала 20<-го> в<ека>, как символизм, царскоселы знали только: «О закрой свои бледные ноги» и «Будем как солнце» *.

Поэтому Оцуп (предисловие к изб<ранному> Гумилеву), повторяя одну из бесчисленных басен о Гумилеве, сообщает, что Н<иколай> С<тепанович> сказал какой-то барышне, когда он ехал с ней на извозчике: «Будем как солнце». Всякому, кто тогда жил в Царском, ясно, что это ложь, а написать это — то же, что написать, что Гумилев ска-

зал это барышне, сидя с ней в ванне. Но Оцуп уехал из Ц<арского> С<ела> почти ребенком, да и к тогдашнему обществу не принадлежал. Долгие годы парижской жизни стерли отдаленные полудетские воспоминания, но зловредная сплетня и желание сделать поэта смешным уцелели. Так-то!

*

При мне почтенные царскоселы издевались над стихами Блока:

Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

Их рупором был нововременный Буренин.

Наталья Владимировна Штейн, жена сына И. Ф. Анненского, была сестрой Сергея Владимировича Штейна (1882—1955), женившегося первым браком в 1904 году на сестре Ахматовой Инне Андреевне Горенко (1885—1906).
О травле, которой подвергался Гумилев со стороны земляков по Царскому Селу, см.: *Тименчик Р.* Иннокентий Анненский и Николай Гумилев.— *Вопросы литературы*, 1987, № 2, с. 273—274. В своих неизданных и по сей день воспоминаниях Н. Н. Пунин, третий муж Ахматовой, рассказывал, например, как он читал своему отцу, царскосельскому врачу, «Незнакомку» Блока, но это не могло иметь успеха в их доме.
Говоря о «разоблаченном Рождественском», Ахматова имеет в виду появление рукописной статьи сына преподавателя Царскосельской гимназии, исследователя биографии И. Ф. Анненского А. В. Орлова (1900—1985), содержавшей фактологическую критику книги В. А. Рождественского «Страницы жизни». Эрик Федорович Голлербах (1895—1942) — искусствовед, автор книги о Царском Селе «Город муз», Николай Авдеевич Оцуп (1894—1958) — поэт, автор вступительной статьи к «Избранному» Н. С. Гумилева (Париж, 1959).

Валентин Кривич. Из воспоминаний

Царское Село всегда обладало свойством крепко привязывать к себе всякого, кто имел случай здесь поселиться.

— Царским положительно отравляешься,— неоднократно говорил отец.

И действительно, очарование этого прелестнейшего города-сада, в аллеях которого тесно сплелись история, ставшая легендой, и легенды, сделавшиеся историей, словно входит в вашу кровь и отравляет вас, и за всю многолетнюю свою связь с этим городом я немного встретил людей, изменивших ему без каких-нибудь особенных к тому оснований.

Не избегла этой участи и наша семья, и, в частности, отец, переезжавший сюда с такой неохотой, не захотел уже покинуть Царское, даже и тогда, когда оставил директорство в гимназии, и центр его служебных занятий вновь перенесся в Петербург. К тому времени он был уже накрепко «отравлен» Царским. Отравлен его прошлым, его тишиной, озоном, чистыми снегами, традиционно быстрой ездой, которую он всегда любил, да и вообще всеми возможностями неспешной и обособленной загородной жизни.

И, конечно, Царское Село, этот последний и, собственно говоря, тоже не долгий — всего 13 лет — этап недолгой жизни отца является главнейшим урочищем творческой его деятельности. <...>

Но если отец и выходил когда-нибудь на прогулку — обыкновенно с кем-нибудь из приезжавших из Петербурга друзей — то во всяком случае почти никогда не дальше Екатерининского парка. Этот планированный, весь строго «сделанный» и полный памятников истории и искусства парк он вообще предпочитал всем другим царскосельским паркам. А здесь наиболее любимым его маршрутом был обход кругом большого озера, а также посещение расположенных близ некоторых сравнительно глухих и малопопулярных, но вместе с тем тоже «скульптурных» уголков, вроде акациевой дорожки мимо озерца с белыми лебедями к «Большому Капризу», или всегда бессолнечного плоского лабиринта некошенных клумб и подернутых копотью дорожек у круглой столовой, где стоит воспетая им статуя «Расе».

«Валентин Кривич» — псевдоним В. И. Анненского (1880—1936), сына И. Ф. Анненского. Полностью его мемуары об отце опубликованы в книге: Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1983.

Иннокентий Анненский

«PACE»
Статуя мира

Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.

Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан,

Одни туманы к ней холодные ласкались,
И раны черные от влажных губ остались.

Но дева красотой по-прежнему горда,
И трав вокруг нее не косят никогда.

Не знаю почему — богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье...

Люблю обиду в ней, ее ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос.

Особенно, когда холодный дождик сеет,
И нагота ее беспомощно белеет...

О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Валерия Срезневская. Из воспоминаний

Мы нарочно долго искали эту Расе (богиню мира) с Аней — и нашли в заглохшей части парка на маленькой поляне и долго смотрели на ее израненное дождями белое в темных пятнах лицо и «тяжелый ужас кос». И так странно жутко повторяли (в каком-то проникновении в будущее, что ли?) последнее восклицание этого удивительного стихотворения: «О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам». И странно: почти дети, подростки, девочки, как любили мы издали наблюдать за высокой ху-

дощавой фигурой поэта, за которой неизменно старый лакей нес небольшое складное кресло — И. Ф. страдал тогда болезнью сердца...

Как ни соблазнительно в согласии с существующим мифом видеть Ахматову, несомненную литературную ученицу Анненского, в обществе своего учителя, тем не менее, по признанию самой Ахматовой, встречи их были редки. Очерк Г. В. Адамовича «Вечер у Анненского» (Числа, Париж, 1930—1931, кн 4, с. 214—216), в котором изображается беседа Ахматовой и Анненского в царскосельском доме Иннокентия Федоровича, ни в какой мере не является мемуарным и относится к беллетристике. Легендарного происхождения и утверждение Н. А. Оцупа, что Анненский «любил стихи почти никому не известной гимназистки Горенко (Анны Ахматовой) больше, чем стихи Гумилева» (*Николай Оцуп.* Современники. Париж, 1961, с. 25). Не слушала Ахматова и лекций Анненского на курсах Н. П. Раева, как это указано в справочнике «Писатели современной эпохи» (Био-библиографический словарь русских писателей XX века, М., 1928, т. 1, с. 26) — она поступила на эти курсы только в 1911 г. (ЦГИА, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 21, л.37).

\+ + +

Царское было зимой, Крым (дача Тура) — летом, но убедить в этом никого невозможно, потому что все считают меня украинкой. Во-первых, оттого, что фамилия моего отца Горенко, во-вторых, оттого, что я родилась в Одессе и кончила Фундуклеевскую гимназию, в-третьих, и главным образом, потому, что Н.С. Гумилев написал: «Из города Киева, /из логова Змиева/Я взял не жену, а колдунью...» (1910).

А в Киеве я жила меньше, чем в Ташкенте (1941—1944, во время эвакуации). Одну зиму, когда кончала Фундуклеевскую гимназию, и две зимы, когда была на Высших женских курсах. Но невнимание людей друг к другу не имеет предела. И чатахтель этой книги должен привыкать, что все было не так, не тогда и не там, как ему чудится. Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Говорят «в основном» сами с собой и почти всегда отвечают себе самим, не слушая собеседника. На этом свойстве человеческой природы держится 90% чудовищных слухов, ложных репутаций, свято сбереженных сплетен. (Мы до сих пор храним змеиное шипение Полетики о Пушкине!!!) Несогласных со мной я только попрошу вспомнить то, что им приходилось слышать о самих себе. <...>

Вера Беер. Листки из далеких воспоминаний

Киевская весна. Синие сумерки. Над площадью густо, медленно разносится благовест. Хочется зайти в древний храм св. Софии, но я ведь принадлежу к «передовым», и в церковь мне не подобает ходить. Искушение слишком велико. Запах распускающихся листьев, золотые звезды, загораю-

щиеся на высоком чистом небе, и эти медленные торжественные звуки — все это создает такое настроение, что хочется отойти от обыденного.

В церкви полумрак. Нороду мало. Усердно кладут земные поклоны старушки-богомолки, истово крестятся и шепчут молитвы. Налево, в темном приделе вырисовывается знакомый своеобразний профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно, тонкая, стройная, напряженная. Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она никого не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит. Сдерживаю свое первоначальное желание окликнуть ее. Чувствую, что ей мешать нельзя. В голове опять возникают мысли: «Какая странная Горенко. Какая она своеобразная».

Я выхожу из церкви. Горенко остается и сливается со старинным храмом. Несколько раз хотела заговорить с ней о встрече в церкви. Но всегда что-то останавливало. Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну, о которой говорить не стоит (Весна 1907 г.).

* *
*

Урок психологии в выпускном (седьмом) классе Киево-Фундуклеевской женской гимназии. Предмет трудный, но преподается он интересно — учитель Шпет, Густав Густавович, заставляет задумываться над рядом вопросов, сложных для нас, юных девушек, и на многое, бывшее прежде неясным, туманным, проливается яркий свет.

Сегодня урок посвящен ассоциативным представлениям. Густав Густавович предлагает нам самостоятельно привести ряд примеров из жизни или из литературы, когда одно представление вызывает в памяти другое. Дружным смехом сопровождается напоминание, как у мистрис Никльби из романа Диккенса «Николас Никльби», пользовавшегося у нас тогда большим успехом, погожее майское утро связывается с поросенком, жаренным с луком. И вдруг раздается спокойный, не то ленивый, не то монотонный голос:

«Столетия-фонарики! О сколько вас во тьме,
На прочной нити времени, протянутой в уме!»

Торжественный размер, своеобразная манера чтения, необычные для нас образы заставляют насторожиться. Мы все смотрим на Аню Горенко, которая даже не встала, а говорит, как во сне. Лекгая улыбка, игравшая на лице Густава Густавовича, исчезла.

«Чьи это стихи?» — проверяет он ее. Раздается· слегка презрительный ответ: «Валерия Брюсова». О Брюсове слышали тогда очень немногие из нас, а знать его стихи так, как Аня Горенко, никто, конечно, не мог. «Пример г-жи Горенко очень интересен»,— говорит Густав Густавович. И он продолжает чтение и комментирование стихотворения, начатого Горенко. На ее сжатых губах скользит легкая самодовольная улыбка. А мы от желтых квадратных фонарей переносимся в далекий знойный Египет. И мистрис Никльби с ее майским утром и жареным поросенком кажется нам такой неинтересной и обыденной (1906/07 учебный год).

* *
*

В классе шумно. Ученицы по очереди подходят к толстой, добродушной, очень глупой учительнице рукоделия Анне Николаевне и показывают ей бумажный пластрон рубашки и получают указания, как его приложить к материалу для выкройки. Почти у всех дешевенький, а следовательно и узенький коленкор; приходится приставлять к ширине клинья, что мы не особенно-то любим. Очередь дошла до Ани Горенко. В руках у нее бледно-розовый, почти прозрачный батист-линон и такой широкий, что ни о каких неприятных клинчиках и речи быть не может. Но Анна Николаевна с ужасом смотрит на материал Горенко и заявляет, что такую рубашку носить неприлично. Лицо Ани Горенко покрывается как бы тенью, но с обычной своей слегка презрительной манерой она говорит: «Вам — может быть, а мне нисколько». Мы ахнули. Анна Николаевна запылала как пион и не нашлась что ответить. Много дипломатии и трудов пришлось приложить нашей классной даме, Лидии Григорьевне, чтобы не раздуть дела. В конце концов ей удалось добиться, чтобы Горенко попросила у Анны Николаевны извинения. Но как она просила! Как королева.

* *
*

Даже в мелочах Горенко отличалась от нас. Все мы, гимназистки, носили одинаковую форму — коричневое платье и черный передник определенного фасона. У всех слева на широкой грудке передника вышито стандартного размера красными крестиками обозначение класса и отделения. Но у Горенко материал какой-то особенный, мягкий, приятного шоколадного цвета. И сидит платье на ней как влитое, и на локтях у нее никогда нет заплаток. А безобразие форменной шляпки-«пирожка» на ней незаметно.

* *
*

Киев — город цветов, и мы весною и осенью являлись в класс с цветами. Осенью мы любили поздние розы, пышные астры, яркие георгины. Аня Горенко признавала тогда только туберозы.

В воспоминаниях одноклассницы Ахматовой Веры Адольфовны Беер (1889—1976) идет речь о Густаве Густавовиче Шпете (1878—1937) — впоследствии известном русском философе. Ахматова в 1960-х годах неоднократно говорила, что ни одна из ее соучениц «не имеет права» вспоминать о ней.

Аттестат

Окончившая курс Киево-Фундуклеевской женской гимназии Ведомства учреждений Императрицы Марии, девица Анна Андреевна Горенко, дочь Статского Советника, родилась 1889 г. 11го июня, вероисповедания православного.

Во время пребывания в сем заведении, при отличном поведении, оказала успехи:

По Закону Божиему	отличные
по Русскому языку и словесности	очень хорошие
по Французскому языку	весьма хорошие

по Немецкому языку	очень хорошие
по Математике	весьма хорошие
по Истории	очень хорошие
по Географии	отличные
по Естествознанию с гигиеной	весьма хорошие
по Физике и космографии	очень хорошие
по Педагогике	весьма хорошие
по Рисованию и чистописанию	хорошие
по Рукоделию	не обучалась
по Хоровому пению	не обучалась
по Музыке	не обучалась
по Танцам	не обучалась

На основании сего аттестата, в силу гл. V § 46 Высочайше Утвержденного Устава Училищ для приходящих девиц Ведомства учреждений Императрицы Марии она, Анна Горенко, получает, не подвергаясь особому испытанию, свидетельство на звание Домашней учительницы тех предметов, в которых оказала хорошие успехи.

В удостоверение чего дан сей аттестат за надлежащей подписью и с приложением печати заведения. Киев, мая 28 дня 1907 г.

Попеч. Фундуклеевской и Киево-Подольской женских гимназий Церемонимейстер Высочайшего Двора	<подпись>
Начальник гимназии	<подпись>
Главная Надзирательница	Н. Максимова
Секретарь Педагогической Конференции	Е. Мошинская

+ + +

25 апреля 1910 я вышла замуж за Н. С. Гумилева. Венчались мы за Днепром в деревенской церкви. В тот же день Уточкин летел над Киевом, и я впервые видела самолет. Шаферами были Вл. Эльснер и [И. А.] Аксенов.

Владимир Юрьевич Эльснер (1892—1964) и Иван Александрович Аксенов (1889—1934) — поэты. Сергей Исаевич Уточкин (1874—1916) — спортсмен и авиатор.

Как изменилось с тех пор отношение к моей Родине! Тогда ведь меня всерьез спрашивали в Париже: «Можно ли добраться до России сухим путем?» или «Правда, что вы все в России носите сарафаны и кокошники?». А один парижанин с гордостью сказал мне тогда: «Я знаю вашего лучшего писателя». «Кого же?» — поинтересовалась я. Он ответил: «Арцыбашева». Разговор этот происходил в июне 1910 года, и Лев Толстой еще здравствовал. О том, чтобы увидеть француза, говорящего по-русски, тогда нечего было и мечтать.

М. Ольшевский. Анна Ахматова. Отношение к моей Родине (Интервью 1965 года).

+ + +

На север я вернулась в июне 1910 года. Царское после Парижа показалось совсем мертвым. В этом нет ничего удивительного. Но куда за пять лет провалилась моя царскосельская жизнь? Я не застала там ни одной моей соученицы по гимназии, я не переступила порог ни одного царскосельского дома. Началась новая петербургская жизнь. В сентябре Н. С. Гумилев уехал в Африку. В зиму 1910—1911 годов я написала стихи, которые составили книгу «Ве-

чер». 25 марта вернулся из Африки Н. С., и я показала ему эти стихи. Его изумление и одобрение.

\+ \+ \+

Стояла долго я у врат тяжелых ада,
Но было тихо и темно в аду...
О! даже Дьяволу меня не надо,
Куда же я пойду?..

Анна Ахматова (Гумильвица)

23 декабря 1910 г. Царское Село
(Из альбома Валентина Кривича).

М. Н. Остроумова. Из воспоминаний «Петербургские эпизоды и встречи конца XIX—начала XX» (ЦГАЛИ)

У Анненских я встречаюсь с молодыми представителями левых течений в литературе. Помню встречу с поэтессой Ахматовой. В моей памяти встает ее гибкая тонкая фигура и типичный профиль с носом «богини мести» (как она выражалась). Через пять минут после нашего знакомства она сказала мне: «Посмотрите, какая я гибкая». Я была поражена, когда мгновенно ноги ее соприкоснулись с головой. Непосредственно после этого она прочла свое стихотворение «Змея».

\+ \+ \+

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.

Вечером слагаю сказки чудные
На ковре у красного огня,
А она глазами изумрудными
Равнодушно смотрит на меня.

Ночью слышат стонущие жалобы
Мертвые, немые образа...
Я иного, верно, пожелала бы,
Если б не змеиные глаза.

Только утром снова я, покорная,
Таю, словно тонкая свеча...
И тогда сползает лента черная
С низко обнаженного плеча.

Владимир Пяст. Из книги «Встречи»

На первых же осенних собраниях Академии стала появляться очень стройная, очень юная женщина в темном наряде... Нам была она известна в качестве «жены Гумилева». Еще летом прошел слух, что Гумилев женился и — против всякого ожидания — «на самой обыкновенной барышне». Так почему-то говорили. Очевидно, от него, уже совершившего первое свое путешествие в Абиссинию, ожидалось, что он привезет в качестве жены зулуску или, по меньшей мере, мулатку; очевидно, подходящей к нему считалась только экзотическая невеста. Иначе бы, конечно, об Анне Ахматовой никому бы не пришло в голову сказать, что она — «самая обыкновенная женщина»...

Эта «самая обыкновенная женщина», как вскоре выяснилось, пишет «для себя» стихи. «Комплиментщик» Вячеслав Иванов заставил ее однажды выступить «в неофициальной части программы» заседания Академии. Я помню стихи, которые сказала Анна Ахматова,— т. е. помню, что среди них было:

У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла...

Это стихотворение, кажется, и все другие, читанные Ахматовой в тот вечер, были в скором времени напечатаны. Между тем, как слышно было, она вообще только что начала писать стихи. Дело в том, что эта «самая обыкновенная барышня» — сразу, выросши, выросла поэтессой,— и с первых

шагов стала в ряды наиболее признанных, определившихся, русских поэтов. Года через два «Ахматовское» направление стало определять чуть ли что не всю женскую лирику России. Ее

«Беличья распластанная шкурка»,—

как правильно говорил когда-то Викт. Шкловский,—стала «знаменем» для пришедшей поэтической поры,—послужив ключом для некоего возникающего направления... Самое слово «акмеизм», хотя и производилось, как я уже упоминал, будто бы от греческого «акмэ»—«острие», «вершина»,—но было подставлено, подсознательно продиктовано, пожалуй, именно этим псевдонимом-фамилией. «Ахматов»—не латинский ли здесь суффикс, «ат», «атум», «атус»... «Ахматус»,—это латинское слово, по законам французского языка, превратилось бы именно во французское «Акмэ»,—как «аматус», в «эме», во французское имя «Aimé», а armatus—в armé.

Недавно об Анне Ахматовой выпущена книжка, превосходно изданная, в небольшом количестве экземпляров, Госиздатом. Э. Голлербах собрал несколько дюжин стихотворений, из числа тех, в которых русские поэты воспели или изобразили поэтессу. Интереснейшая у нее «иконография». Не только портреты, но и прелестные статуэтки, с замечательным изяществом воспроизводящие ее фигуру, выпущены были фарфоровым заводом. Блестящие (действительно блестящие, а не только из лести или снисхождения могущие быть так названными!) критические очерки, этюды, речи и целые книги посвящены ее творчеству. Но еще никто не вспомнил, под каким—вот парадокс жизни!—под каким скромным именем она вошла в литературу,—не вспомнил о том, что ей предшествовало по прихоти судьбы прозвание: «самая обыкновенная женщина».

Анна Ахматова осталась такой же скромной, как «вошла». С течением месяцев и лет голос и движения ее становились только тверже, увереннее,—но не теряли изначального своего характера. Так же и темные платья, которые она надевала совсем юной; так же и манера чтения, которая производила и оригинальное и хорошее впечатление с самого начала. Но мне стороной известно, что чтение Ахматовой

с самого начала не было случайным, импровизованным бормотанием стихов, как у большинства выступающих и — безнадежно проваливающих свои вещи и себя самих на эстраде — поэтов. Она подолгу готовилась, даже перед большим зеркалом, к каждому своему «выступлению» перед публикой. Всякая интонация была продумана, проверена, учтена. Под кажущимся однообразием у нее, как и у Блока, скрывалась большая эмоциальная выразительность голоса и тона (не поймите моих слов метафорически: я говорю о произнесении стихов, а не как Мандельштам, не приписываю стихам, как таковым, стихам на бумаге, тона или голоса!). Но только чрезвычайно сдержанная, вся в оттенках,— отнюдь не в «цветах», (а это я говорю уже метафорически). Я считал и теперь считаю Ахматову образцовым исполнителем стихов. Но это оттого, что у нее прекрасная, выработанная, техника.

К версии о подсознательном выборе названия поэтического направления Ахматова относилась как к фантастической выдумке, но вообще воспоминаниям Владимира Алексеевича Пестовского (1886—1940), известного в литературе как «В. Пяст», сочувствовала. В сборнике «Образ Ахматовой» (1925), который упоминает Пяст, помещено и его стихотворение 1913 года:

...Здравствуй, желанная дочь
Славы, богини властительницы!
В каждом кивке твоем — ночь
Жаждет луны победительницы,—
Славы любимая дочь!

Ночь. И сама ты — звезда,
Блеском луну затмевающая...
Ведь ты зажглась навсегда!
Вот ты на тверди мерцающая,
Огромная звезда!

Георгий Чулков. Из книги «Годы странствий»

Однажды, на вернисаже выставки «Мира Искусства» я заметил высокую стройную сероглазую женщину, окруженную

сотрудниками «Аполлона», которая стояла перед картинами Судейкина. Меня познакомили. Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишевского зала. Моросил дождь и характернейший петербургский вечер окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло. Случилось так, что я предложил этой молодой даме довезти ее до вокзала: нам было по дороге. Она ехала на дачу. Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда. Среди беседы моя новая знакомая сказала, между прочим:

— А вы знаете, что я пишу стихи?

Полагая, что это одна из многих тогдашних поэтесс, я равнодушно и рассеянно попросил ее прочесть что-нибудь. Она стала читать стихи, какие потом вошли в ее первую книжку «Вечер».

Первые же строфы, услышанные мною из ее уст, заставили меня насторожиться.

— Еще!... Еще!... Читайте еще,— бормотал я, наслаждаясь новою своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов.

— Вы — поэт, сказал я совсем уже не тем равнодушным голосом, каким я просил ее читать свои стихи.

Так я познакомился с Анною Андреевной Ахматовой. Я горжусь, что на мою долю выпало счастье предсказать ей ее большое место в русской поэзии в те дни, когда она еще не напечатала, кажется, ни одного своего стихотворения.

Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год.

Поэт и критик Георгий Иванович Чулков (1879—1939) оставался другом Ахматовой до конца своей жизни. Подпись Ахматовой стояла под некрологом Чулкову. В 1922 году Чулков писал: «...Среди поэтесс прошлых и современных у Ахматовой нет соперниц».

ВЕЧЕР

В Александрии существовало общество, члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали себя обреченными на смерть. Каждый день их, каждый час был предсмертным. Хотя предсмертное времяпрепровождение в данном обществе сводилось к сплошным оргиям, нам кажется, что сама мысль о предсмертном обострении восприимчивости и чувствительности эпидермы и чувства более чем справедлива. Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтоб насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз. Вы сами знаете, что в минуты крайних опасностей, когда смерть близка, в одну короткую секунду мы вспоминаем столько, сколько не представится нашей памяти и в долгий час, когда мы находимся в обычном состоянии духа.

И воспоминания эти идут не последовательно и не целостно, а набегают друг на друга острой и жгучей волной, из которой сверкнет: то давно забытые глаза, то облако на весеннем небе, то чье-то голубое платье, то голос чужого вам прохожего. Эти мелочи, эти *конкретные* осколки нашей жизни мучат и волнуют нас больше, чем мы этого ожидали, и, будто не относясь к делу, точно и верно ведут нас к тем минутам, к тем местам, где мы любили, плакали, смеялись и страдали — где мы жили.

Можно любить вещи, как любят их коллекционеры, или привязчивые чувственной привязанностью люди, или в качестве сентиментальных сувениров, но это совсем не то чувство связи, непонятной и неизбежной, открывающейся нам то в горестном, то в ликующем восторге, на которое мы указывали выше. Нам кажется, что, в отличие от других вещелюбов, Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами. Часто она точно и определенно упоминает

какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако как беличья шкурка на небе, желтый свет свечей в спальне, треуголку в Царскосельском парке), казалось бы не имеющий отношения ко всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого упоминания более ощутимый укол, более сладостный яд мы чувствуем. Не будь этой беличьей шкурки, и все стихотворение, может быть, не имело бы той хрупкой пронзительности, которую оно имеет. Мы не хотим сказать, что всегда у автора вещи имеют такое особенное значение: часто они не более как сентиментальные сувениры или перенесение чувства с человека и на вещи, ему принадлежащие. Мы говорим это не в упрек молодому поэту, потому что уже не мало — заставлять читателя и помечтать и поплакать и посердиться с собою вместе, хотя бы посредством чувствительной эмоциональности,— но особенно ценим то первое пониманье острого и непонятного значения вещей, которое встречается не так часто. И нам кажется, что Анна Ахматова имеет ту повышенную чувствительность, к которой стремились члены общества обреченных на смерть.

Этим мы не хотим сказать, чтобы мысли и настроения ее всегда обращались к смерти, но интенсивность и острота их такова. Положим, она не принадлежит к поэтам особенно веселым, но всегда жалящим.

Нам кажется, что она чужда манерности, которая, если у нее и есть, однородна несколько с манерностью Лафорга, то есть капризного ребенка, привыкшего, чтоб его слушали и им восхищались. Среди совсем молодых поэтов, разумеется, есть и другие, стремящиеся к тонкой и, мы сказали бы, хрупкой поэзии, но в то время, как одни ищут ее в описании предметов, которое принято считать тонким: севрских чашек, гобеленов, каминов, арлекинов, рыцарей и мадонн (Эренбург), другие в необыкновенно изощренном анализе нарочито-причудливых переживаний (Мандельштам), третьи в иронизирующем описании интимной, несколько демонстративно-обыденной жизни (Марина Цветаева),— нам кажется, что поэзия Анны Ахматовой производит впечатление острой и хрупкой потому, что сами ее восприятия таковы, от себя же поэт прибавляет разве только лафорговскую, на наш вкус приятную, манерность.

Вячеслав Иванов однажды высказал мысль, что у оригинальных поэтов прежде всего появляется своя манера, от которой впоследствии они отказываются для своего «лица», в свою очередь приносимого в жертву своему стилю. Из того, что в данном случае у поэта манера уже существует, легко можно заключить, что этот поэт оригинальный и что новый женский голос, отличный от других и слышимый несмотря на очевидную, как бы желаемую обладателем его, слабость тона, присоединился к общему хору русских поэтов.

Мы пишем не критику, и наша роль сводится к очень скромной: только назвать имя и как бы представить вновь прибывшую. Мы можем намекнуть слегка об ее происхождении, указать кой-какие приметы и высказать свои догадки,— что мы и делаем. Итак, сударыни и судари, к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его — Анна Ахматова.

М. Кузмин

I

ЛЮБОВЬ

То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует,

То в инее ярком блеснет,
Почудится в дреме левкоя...
Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке.

В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

I

По аллее проводят лошадок.
Длинны волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.

Странно вспомнить: душа тосковала,
Задыхалась в предсмертном бреду.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

Грудь предчувствием боли не сжата,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово «уйди».

II

...А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.

И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану...
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.

III

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы елей густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И разорванный том Парни.

1911

\+ + +

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок,
И две в лесу скрестившихся тропинки,
И в дальнем поле дальний огонек,—

Я вижу все. Я все запоминаю,
Любовно-кротко в сердце берегу.
Лишь одного я никогда не знаю
И даже вспомнить больше не могу.

Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно... Крылатый иль бескрылый,
Веселый бог не посетит меня.

\+ + +

Любовь покоряет обманно,
Напевом простым, неискусным.
Еще так недавно-странно
Ты не был седым и грустным.

И когда она улыбалась
В садах твоих, в доме, в поле,
Повсюду тебе казалось,
Что вольный ты и на воле.

Был светел ты, взятый ею
И пивший ее отравы.
Ведь звезды были крупнее,
Ведь пахли иначе травы,
Осенние травы.

\+ + +

Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

\+ + +

Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.

Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.

Память о солнце в сердце слабеет.
Что это? Тьма?
Может быть!.. За ночь прийти успеет
Зима.

\+ + +

Высóко в небе облачко серело,
Как беличья расстеленная шкурка.
Он мне сказал: «Не жаль, что ваше тело
Растает в марте, хрупкая Снегурка!»

В пушистой муфте руки холодели.
Мне стало страшно, стало как-то смутно.
О, как вернуть вас, быстрые недели
Его любви, воздушной и минутной!

Я не хочу ни горечи, ни мщенья,
Пускай умру с последней белой вьюгой.
О нем гадала я в канун Крещенья.
Я в январе была его подругой.

\+ + +

Дверь полуоткрыта,
Веют липы сладко...
На столе забыты
Хлыстик и перчатка.

Круг от лампы желтый...
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю...

Радостно и ясно
Завтра будет утро.
Эта жизнь прекрасна,
Сердце, будь же мудро.

Ты совсем устало,
Бьешься тише, глуше...
Знаешь, я читала,
Что бессмертны души.

\+ + +

Хочешь знать, как все это было? —
Три в столовой пробило,
И прощаясь, держась за перила,
Она словно с трудом говорила:
«Это все... Ах, нет, я забыла,
Я люблю вас, я вас любила
Еще тогда!»
«Да»?!..

ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут, слышишь, унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой...»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

\+ \+ \+

Как соломинкой, пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.
Но я пытку мольбой не нарушу.
О, покой мой многонеделен.

Когда кончишь, скажи. Не печально,
Что души моей нет на свете.
Я пойду дорогой недальней
Посмотреть, как играют дети.

На кустах зацветает крыжовник,
И везут кирпичи за оградой.
Кто он: брат мой или любовник,
Я не помню, и помнить не надо.

Как светло здесь и как бесприютно,
Отдыхает усталое тело...
А прохожие думают смутно:
Верно, только вчера овдовела.

\+ + +

Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
Уколола палец безымянный
Мне звенящая оса.

Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала
Был острей веретена.

О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо.

\+ + +

Мне больше ног моих не надо,
Пусть превратятся в рыбий хвост!
Плыву, и радостна прохлада,
Белеет тускло дальний мост.

Не надо мне души покорной,
Пусть станет дымом, легок дым,
Взлетев над набережной черной,
Он будет нежно-голубым.

Смотри, как глубоко ныряю,
Держусь за водоросль рукой,
Ничьих я слов не повторяю
И не пленюсь ничьей тоской...

А ты, мой дальний, неужели
Стал бледен и печально-нем?
Что слышу? Целых три недели
Все шепчешь: «Бедная, зачем?!»

II

ОБМАН

М. А. Змунчилла

I

Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.

Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне.
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют изысканные клумбы,
И резкий крик вороны в небе черной,
И в глубине аллеи арка склепа.

II

Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло;

Сухо пахнут иммортели
В резметавшейся косе.
На стволе корявой ели
Муравьиное шоссе.

Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка...
Кто сегодня мне приснится
В легкой сетке гамака?

III

Синий вечер. Ветры кротко стихли,
Яркий свет зовет меня домой.
Я гадаю: кто там?—не жених ли,
Не жених ли это мой?..

На террасе силуэт знакомый,
Еле слышен тихий разговор.
О, такой пленительной истомы
Я не знала до сих пор.

Тополя тревожно прошуршали,
Нежные их посетили сны.
Небо цвета вороненой стали,
Звезды матово-бледны.

Я несу букет левкоев белых.
Для того в них тайный скрыт огонь,
Кто, беря цветы из рук несмелых,
Тронет теплую ладонь.

IV

Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
Странно немеет тело.

Смолк отдаленный рожок,
В сердце все те же загадки,
Легкий осенний снежок
Лег на крокетной площадке.

Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!
Я не хотела мешать
Тем, что должны веселиться.

Милым простила губам
Я их жестокую шутку...
О, вы приедете к нам
Завтра по первопутку.

Свечи в гостиной зажгут,
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут
Роз из оранжереи.

\+ + +

Мне с тобою пьяным весело —
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного...
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.

\+ + +

Муж хлестал меня узорчатым,
Вдвое сложенным ремнем.
Для тебя в окошке створчатом
Я всю ночь сижу с огнем.

Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
Ах, со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не смог.

Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, стоны звонкие!
В сердце темный, душный хмель,
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

\+ \+ \+

Сердце к сердцу не приковано,
Если хочешь—уходи.
Много счастья уготовано
Тем, кто волен на пути.

Я не плачу, я не жалуюсь,
Мне счастливой не бывать.
Не целуй меня, усталую,—
Смерть придет поцеловать.

Дни томлений острых прожиты
Вместе с белою зимой.
Отчего же, отчего же ты
Лучше, чем избранник мой?

ПЕСЕНКА

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

Вырываю и бросаю —
Пусть простит меня.
Вижу, девочка босая
Плачет у плетня.

Страшно мне от звонких воплей
Голоса беды,
Все сильнее запах теплый
Мертвой лебеды.

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

\+ \+ \+

Я пришла сюда, бездельница,
Все равно мне, где скучать!
На пригорке дремлет мельница.
Годы можно здесь молчать.

Над засохшей повиликою
Мягко плавает пчела;
У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла.

Затянулся ржавой тиною
Пруд широкий, обмелел,
Над трепещущей осиною
Легкий месяц заблестел.

Замечаю все как новое.
Влажно пахнут тополя.
Я молчу. Молчу, готовая
Снова стать тобой, земля.

БЕЛОЙ НОЧЬЮ

Ах, дверь не запирала я,
Не зажигала свеч,
Не знаешь, как, усталая,
Я не решалась лечь.

Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

И знать, что все потеряно,
Что жизнь — проклятый ад!
О, я была уверена,
Что ты придешь назад.

\+ \+ \+

Под навесом темной риги жарко,
Я смеюсь, а в сердце злобно плачу.
Старый друг бормочет мне: «Не каркай!
Мы ль не встретим на пути удачу!»

Но я другу старому не верю.
Он смешной, незрячий и убогий,
Он всю жизнь свою шагами мерил
Длинные и скучные дороги.

И звенит, звенит мой голос ломкий,
Звонкий голос не узнавших счастья:
«Ах, пусты дорожные котомки,
А на завтра голод и ненастье!»

\+ \+ \+

Хорони, хорони меня, ветер!
Родные мои не пришли,
Надо мною блуждающий вечер
И дыханье тихой земли.

3—583

Я была, как и ты, свободной,
Но я слишком хотела жить.
Видишь, ветер, мой труп холодный,
И некому руки сложить.

Закрой эту черную рану
Покровом вечерней тьмы
И вели голубому туману
Надо мною читать псалмы.

И чтоб мне легко, одинокой,
Отойти к последнему сну,
Прошуми высокой осокой
Про весну, про мою весну.

\+ + +

Ты поверь, не змеиное острое жало,
А тоска мою выпила кровь.
В белом поле я тихою девушкой стала,
Птичьим голосом кличу любовь.

И давно мне закрыта дорога иная,
Мой царевич в высоком кремле.
Обману ли его, обману ли? — Не знаю!
Только ложью живу на земле.

Не забыть, как пришел он со мною проститься.
Я не плакала: это судьба.
Ворожу, чтоб царевичу ночью присниться,
Но бессильна моя ворожба.

Оттого ль его сон безмятежен и мирен,
Что я здесь у закрытых ворот,
Иль уже светлоокая, нежная Сирин
Над царевичем песню поет?

III

МУЗЕ

Муза-сестра заглянула в лицо,
Взгляд ее ясен и ярок.
И отняла золотое кольцо,
Первый весенний подарок.

Муза! ты видишь, как счастливы все —
Девушки, женщины, вдовы...
Лучше погибну на колесе,
Только не эти оковы.

Знаю: гадая, не мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:
«Взор твой не ясен, не ярок...»
Тихо отвечу: Она отняла
Божий подарок.

I

Все тоскует о забытом,
О своем весеннем сне,
Как Пьеретта о разбитом
Золотистом кувшине...

Все осколочки собрала,
Не умела их сложить...
«Если б ты, Алиса, знала,
Как мне скучно, скучно жить!

Я за ужином зеваю,
Забываю есть и пить,
Ты поверишь, забываю
Даже брови подводить.

О Алиса! дай мне средство,
Чтоб вернуть его опять;
Хочешь, все мое наследство,
Дом и платья можешь взять.

Он приснился мне в короне,
Я боюсь моих ночей!»
У Алисы в медальоне
Темный локон — знаешь, чей?!

II

«Как поздно! Устала, зеваю...»
«Миньона, спокойно лежи,
Я рыжий парик завиваю
Для стройной моей госпожи.

Он будет весь в лентах зеленых,
А сбоку жемчужный аграф;
Читала записку:«У клена
Я жду вас, таинственный граф!»

Сумеет под кружевом маски
Лукавая смех заглушить,
Велела мне даже подвязки
Сегодня она надушить».

Луч утра на черное платье
Скользнул, из окошка упав...
«Он мне открывает объятья
Под кленом, таинственный граф».

МАСКАРАД В ПАРКЕ

Луна освещает карнизы,
Блуждает по гребням реки...
Холодные руки маркизы
Так ароматны-легки.

«О принц! — улыбаясь, присела, —
В кадрили вы наш vis-à-vis», —
И томно под маской бледнела
От жгучих предчувствий любви.

Вход скрыл серебрящийся тополь
И низко спадающий хмель.
«Багдад или Константинополь
Я вам завоюю, ma belle!»

«Как вы улыбаетесь редко,
Вас страшно, маркиза, обнять!»
Темно и прохладно в беседке.
«Ну что же! пойдем танцевать?»

Выходят. На вязах, на кленах
Цветные дрожат фонари,
Две дамы в одеждах зеленых
С монахами держат пари.

И бледный, с букетом азалий,
Их смехом встречает Пьеро:
«Мой принц! О, не вы ли сломали
На шляпе маркизы перо?»

ВЕЧЕРНЯЯ КОМНАТА

Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе,
Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше.

И комната, где окна слишком узки,
Хранит любовь и помнит старину,
А над кроватью подпись по-французски
Гласит: «Seigneur, ayez pitíe de nous».

Ты сказки давней горестных заметок,
Душа моя, не тронь и не ищи...
Смотрю, блестящих севрских статуэток
Померкли глянцевитые плащи.

Последний луч, и желтый и тяжелый,
Застыл в букете ярких георгин,
И как во сне я слышу звук виолы
И редкие аккорды клавесин.

СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»

РЫБАК

Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лед.
Едкий, душный запах дегтя,
Как загар, к тебе идет.

И всегда, всегда распахнут
Ворот куртки голубой,
И рыбачки только ахнут,
Закрасневшись пред тобой.

Даже девочка, что ходит
В город продавать камсу,
Как потерянная бродит
Вечерами на мысу.

Щеки бледны, руки слабы,
Истомленный взор глубок,
Ноги ей щекочут крабы,
Выползая на песок.

Но она уже не ловит
Их привычною рукой.
Все сильней биенье крови
В теле, раненном тоской.

\+ + +

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой.

\+ + +

Сегодня мне письма́ не принесли:
Забыл он написать, или уехал;
Весна как трель серебряного смеха,
Качаются в заливе корабли.
Сегодня мне письма не принесли...

Он был со мной еще совсем недавно,
Такой влюбленный, ласковый и мой,
Но это было белою зимой,
Теперь весна, и грусть весны отравна,
Он был со мной еще совсем недавно...

Я слышу: легкий трепетный смычок,
Как от предсмертной боли, бьется, бьется,
И страшно мне, что сердце разорвется,
Не допишу я этих нежных строк...

НАДПИСЬ НА НЕОКОНЧЕННОМ ПОРТРЕТЕ

О, не вздыхайте обо мне,
Печаль преступна и напрасна,
Я здесь, на сером полотне,
Возникла странно и неясно.

Взлетевших рук излом больной,
В глазах улыбка исступленья,
Я не могла бы стать иной
Пред горьким часом наслажденья.

Он так хотел, он так велел
Словами мертвыми и злыми.
Мой рот тревожно заалел,
И щеки стали снеговыми.

И нет греха в его вине,
Ушел, глядит в глаза другие,
Но ничего не снится мне
В моей предсмертной летаргии.

\+ + +

Сладок запах синих виноградин...
Дразнит опьяняющая даль.
Голос твой и глух и безотраден.
Никого мне, никого не жаль.

Между ягод сети-паутинки,
Гибких лоз стволы еще тонки,
Облака плывут, как льдинки, льдинки
В ярких водах голубой реки.

Солнце в небе. Солнце ярко светит.
Уходи к волне про боль шептать.
О, она, наверное, ответит,
А быть может, будет целовать.

ПОДРАЖАНИЕ И. Ф. АННЕНСКОМУ

И с тобой, моей первой причудой,
Я простился. Чернела вода.
Просто молвила: «я не забуду».
Я так странно поверил тогда.

Возникают, стираются лица,
Мил сегодня, а завтра далек.
Отчего же на этой странице
Я когда-то загнул уголок.

И всегда открывается книга
В том же месте. Не знаю зачем!
Я люблю только радости мига
И цветы голубых хризантем.

О, сказавший, что сердце из камня,
Знал наверно: оно из огня...
Никогда не пойму, ты близка мне
Или только любила меня.

ВЕРЕ ИВАНОВОЙ-ШВАРСАЛОН

Туманом легким парк наполнился,
И вспыхнул на воротах газ.
Мне только взгляд один запомнился
Незнающих, спокойных глаз.

Твоя печаль, для всех неявная,
Мне сразу сделалась близка,
И поняла ты, что отравная
И душная во мне тоска.

Я этот день люблю и праздную,
Приду, как только позовешь.
Меня, и грешную и праздную,
Лишь ты одна не упрекнешь.

КУКУШКА

Я живу, как кукушка в часах,
Не завидую птицам в лесах.
Заведут — и кукую.
Знаешь, долю такую
Лишь врагу
Пожелать я могу.

ПОХОРОНЫ

Я места ищу для могилы.
Не знаешь ли, где светлей?
Так холодно в поле. Унылы
У моря груды камней.

А она привыкла к покою
И любит солнечный свет.
Я келью над ней построю,
Как дом наш на много лет.

Между окнами будет дверца,
Лампадку внутри зажжем,
Как будто темное сердце
Алым горит огнем.

Она бредила, знаешь, больная,
Про иной, про небесный край,
Но сказал монах, укоряя:
«Не для вас, не для грешных рай».

И тогда, побелев от боли,
Прошептала: «Уйду с тобой».
Вот одни мы теперь, на воле,
И у ног голубой прибой.

САД

Он весь сверкает и хрустит,
Обледенелый сад.
Ушедший от меня грустит,
Но нет пути назад.

И солнца бледный тусклый лик —
Лишь круглое окно;
Я тайно знаю, чей двойник
Приник к нему давно.

Здесь мой покой навеки взят
Предчувствием беды,
Сквозь тонкий лед еще сквозят
Недавние следы.

Склонился тусклый мертвый лик
К немому сну полей,
И замирает острый крик
Отсталых журавлей.

НАД ВОДОЙ

Стройный мальчик пастушок,
Видишь, я в бреду.
Помню плащ и посошок,
На свою беду.
Если встану — упаду.
Дудочка поет: ду-ду!

Мы прощались как во сне,
Я сказала: «Жду».
Он, смеясь, ответил мне:
«Встретимся в аду».
Если встану — упаду.
Дудочка поет: ду-ду!

О глубокая вода
В мельничном пруду,
Не от горя, от стыда
Я к тебе приду.
И без крика упаду,
А вдали звучит: ду-ду.

+ + +

Три раза пытать приходила.
Я с криком тоски просыпалась
И видела тонкие руки
И красный насмешливый рот.
«Ты с кем на заре целовалась,
Клялась, что погибнешь в разлуке,
И жгучую радость таила,
Рыдая у черных ворот?
Кого ты на смерть проводила,
Тот скоро, о, скоро умрет».
Был голос как крик ястребиный,
Но странно на чей-то похожий.
Все тело мое изгибалось,
Почувствовав смертную дрожь,
И плотная сеть паутины
Упала, окутала ложе...
О, ты не напрасно смеялась,
Моя непрощенная ложь!

ВОКРУГ «ВЕЧЕРА»

\+ + +

Общеизвестно, что каждый уехавший из России увез с собой свой последний день. Недавно мне пришлось проверить это, читая статью Di Sarra обо мне. Он пишет, что мои стихи целиком выходят из поэзии М. Кузмина. Так никто не думает уже около 45 лет. Но Вячеслав Иванов, который навсегда уехал из Петербурга в 1912 г., увез представление обо мне, как-то связанное с Кузминым, и только потому, что Кузмин писал предисловие к моему «Вечеру» (1912). Это было последнее, что Вяч. Иванов мог вспомнить, и, конечно, когда его за границей спрашивали обо мне, он рекомендовал меня ученицей Кузмина. Таким образом, у меня склубился не то двойник, не то оборотень, который мирно прожил в чьем-то представлении все эти десятилетия, не вступая ни в какой контакт со мной, с моей истинной судьбой и т. д.

Невольно напрашивается вопрос, сколько таких двойников или оборотней бродит по свету и какова будет их окончательная роль.

\+ + +

В Цехе, когда одновременно вышла «Дикая Порфира» и «Вечер», их авторы сидели в лавровых венках*. Хорошо помню венок на молодых густых кудрях Михаила Александровича. Помню лавровый венок и на голове Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой (Sœur Marie — la bienheureuse[1]), когда вышли «Скифские черепки», которая через много лет возложила на себя иной венец.

---

[1] Мать Мария — блаженная *(фр.)*.

Веночки сплела я, купив листья в садовничестве <А. Я.> Фишера около вокзала в Ц. С. Конфуз из-за веночка в вагоне.

«Дикая порфира» — первый сборник стихов Михаила Александровича Зенкевича (1891—1973), «Скифские черепки» — первый сборник Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой (1891—1943; в монашестве — мать Мария), погибшей в нацистском концлагере.

\+ + +

Когда мне сказали знакомые, что «Вечер» разошелся и надо получить за него деньги, я пошла в книжную лавку Вольфа в Гостином Дворе, где «Вечер» продавался, вызвала старшего приказчика, который ведал такими операциями и объяснила ему, в чем дело. Почтенный старичок с белоснежной бородкой добродушно ответил мне: «Да что вы, барышня, статочное ли это дело? — Наверно, в Казань заслали», и предложил зайти через неделю. «Вечер» был напечатан в количестве 300 экз.

\+ + +

Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз (если я видела все контрафакционные издания). Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, «чтобы не расстраиваться». От огорчения, что «Вечер» появился, она даже уехала в Италию (1912 г., весна), а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: «Какие они счастливые — у них не выходит книжка».

Василий Гиппиус.
Анна Ахматова «Вечер»

Голос, запевший в стихах А. Ахматовой, выдает свою женскую душу. Здесь все женское: зоркость глаза, любовная память о милых вещах, грация — тонкая и чуть капризная. Эта грация, эта не столько манерность, сколько видимость манерности, кажется нужной, чтобы закрыть раны, потому что подлинный лирик всегда ранен, а А. Ахматова — подлинный лирик. «Я была, как и ты, свободной, но я слишком хотела жить. Видишь, ветер, мой труп холодный, и некому руки сложить». Нетрудно найти литературную генеалогию Ахматовой. Конечно, должны вспомниться (из русских поэтов): И. Анненский и Кузмин, Сологуб и Блок. Но не острая горечь Анненского, не меланхолия Кузмина, не мистическое томление Сологуба, не взрывы восторга и отчаяния Блока — слышны в этой книге. Это скорее сдавленная боль, сжатые губы и глаза, готовые заплакать. Рядом с этой лирической обнаженностью — причудливые загадки (вроде прекрасного сближения обручального кольца с осиным жалом) и изысканные образы. В нарядных и иронических рассказах, тонко стилизованных и чуть жеманных стихах голос А. Ахматовой крепнет. Но нам жаль и другого, не крепкого голоса. В уклоне к подобным темам для автора соблазн и опасность: опасность не потому, что в поэзии могут быть темы запретные, но только потому, что тема А. Ахматовой — больше.

* *
*

По пятницам в «Гиперборее»
Расцвет литературных роз.
И всех садов земных пестрее
По пятницам в «Гиперборее»,
Как под жезлом воздушной феи,
Цветник прельстительный возрос,
По пятницам в «Гиперборее»
Расцвет литературных роз.

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской,
Выходит Михаил Лозинский,
Лелея лаской материнской*
Свое журнальное дитя,
Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя.

У Николая Гумилева
Высоко задрана нога,
Далеко в Царском воет Лева,
У Николая Гумилева
Для символического клева
Рассыпанные жемчуга,
У Николая Гумилева
Высоко задрана нога.

Печальным взором и пьянящим
Ахматова глядит на всех,
Глядит в глаза гостей молчащих,
Печальным взором и пьянящим,
Был выхухолем настоящим
Ее благоуханный мех.
Печальным взором и пьянящим
Ахматова глядит на всех.

Ритмичный Мандельштам Иосиф,
Покачивая головой,
В акмеистическое ландо сев,
Ритмичный Мандельштам Иосиф,
Одежды символизма сбросив,
Сверкает резво, огневой,
Ритмичный Мандельштам Иосиф,
Покачивая головой.

А Гиппиус на дальнем стуле
Марает вольный триолет,
Напал на стену (но на ту ли?),
А Гиппиус на дальнем стуле,

Горяч, как самовары в Туле,
Пронзителен, как пистолет,
А Гиппиус на дальнем стуле,
Марает вольный триолет.

* Рукой лаская исполинской.

28 декабря 1912

Цех поэтов

О «цехе поэтов» — этой мимолетной, но любопытной странице в истории нашей новой поэзии уже можно говорить исторически беспристрастно. Правда, «предание» о нем «свежо» — но уже ясно, что это — предание. Все работники цеха — уже определились, склонности и способности их выяснились; почти все нашли себе то или иное место в литературе. К тому же переживаемое теперь литературное затишье — затишье, явно близкое к концу и к новым бурям — располагает к воспоминаниям и к своего рода критической бухгалтерии.

Осенью 1911 года в Петрограде на квартире Сергея Городецкого было первое собрание — сначала только приглашенных. Потом собирались они также и у Гумилева — в его своеобразном домике в Царском Селе, изредка у М. Л. Лозинского. Собирались весь первый год очень часто — три раза в месяц. Гумилев и Городецкий были «синдиками» и по очереди председательствовали. Новых членов цеха выбирали тайной баллотировкой, после того, как читались вслух их стихи. Много было в цехе недолгих гостей — скоро отошли старшие поэты из числа приглашенных (Блок, Кузмин, Ал. Н. Толстой, Вл. Пяст и некоторые друг.), одни ушли сами, другие — по формуле, предложенной синдиками — были «почетно исключены». Самыми прилежными, не пропускавшими почти ни одного собрания были — Анна Ахматова, Ел. Кузьмина-Караваева, Зенкевич, Нарбут, Мандельштам, Лозинский, Георгий Иванов, Моравская и я. И, конечно, синдики. Весь круг читал каждый раз, читали по очере-

ди, после каждого чтения — стихи обсуждались, как по существу, так и в частностях. Эту способность экспромтной критики цеховики развили в себе в высшей степени — особенно Гумилев, который мог говорить и пространно, и интересно, и довольно образно — развивая свою — складывавшуюся тогда — теорию, о которой скажу позже. Но как-то после стихов Кузмина — редкого гостя цеха — вдруг оказалось, что говорить никому не хочется; лирическая сила стихов была настолько убедительна, что прежние рассудочные разборы показались пресными, говорить о стихах Кузмина значило бы вино разбавлять водой. Впрочем, культурные римляне иначе и не пили вина и хвалились этим отличием своим перед скифами.

Римлянами, а не скифами захотели быть и учредители ЦП, хотя одна из первых книг, вышедших в издании цеха, и называлась «Скифские черепки». Весной 1912 года на одном из собраний цеха Гумилев и Городецкий провозгласили свою программу — программу «того литературного направления, которое должно сменить символизм». Было придумано и название для этой новой школы — «акмеизм» (акмэ — острие).

В немногих словах сущность нового изобретения сводилась вот к чему: отказаться от той мистической стихии, которую принесли в поэзию символисты. Нужно признать самодовлеющую ценность мира — пространства, времени, вещества — мира, «обесцененного» символистами в поисках иных миров. В поэтике — принимаются все технические нововведения символистов, но все излишества сглаживаются: ритм, стиль и композиция должны быть в равновесии; при этом вместо музыкальных задач символизма определенно выдвигались задачи живописные и «архитектурные».

(Это все — приблизительно, потому что сами теоретики новой школы понимали акмеизм немножко по-разному.) Публика, литературная улица, посмеялась над словами «цех поэтов», «акмеизм» и т. д., но, в общем, приняла новаторов с сочувствием куда более искренним, чем их учителей — символистов. Это и понятно. Уклон к реализму был публике по душе: символизм с его религиозным и мистико-философским одушевлением должен был остаться поэзией

для немногих. Совет — избегать крайностей — подкупил даже такого критика старого закала, как Неведомский. Старая школа торжествовала победу: молодежь образумилась.

Из нового направления, однако, вышло немного. Брюсов был прав, назвав его кабинетной выдумкой. Реалистическая струя и без того влилась в поток поэзии, влилась очень своеобразно — и своеобразно же сочеталась с мистикой — в творчестве Анненского, Блока и отчасти Белого («Пепел»). Рационалистические и позитивные рецепты — равновесия, гармонии, полноты и т. д.— остались фразами — жизнь поэзии развивалась по неписаным законам. Новой школы из акмеизма не родилось потому, что школы творятся только мировоззрениями. Оттолкнувшись от берегов символизма и мистики, акмеисты не знали, куда пристать (искренние старания Гумилева насадить нечто вроде нового кантианства не привели ни к чему) и очутились в открытом море. Им оставалось одно — отдаться волнам; так оно и случилось.

И, наконец, у школы не оказалось последователей. В самом цехе далеко не все ее признали. В число акмеистов зачислили себя, кроме двух основателей,— Нарбут, Зенкевич, Мандельштам и (совсем юный) Георгий Иванов — перебежчик из стана Игоря Северянина. Анну Ахматову называли одно время «акмеисткой» — но с явной натяжкой.

Проницательным уже тогда была ясна вся призрачность и ненужность новой затеи. Но ЦП жил еще около двух лет — как простое содружество поэтов; речи с акмеистической тенденцией слышались на его собраниях все реже.

Роль цеха — именно как содружества — была только благотворна, довольно сказать, что здесь получила первое признание Анна Ахматова, здесь окрепли ее шаги.

Н. Гумилев, на глазах цеховиков — из подражателя Брюсова вырос в самостоятельного поэта, правда, той же французской эклектическопарнасской школы; теперь Гумилев, несомненно, владеет даром стихотворной живописи, его образы ярко-красочны, но явно недостает ему дара пения и музыки.

Талант Городецкого — в начале его пути такой блестящий! — тоже на наших глазах — погиб, отравленный вымученной тенденциозностью. Захотев создать новую технику

(в его «Яри» есть на это намеки — и очень талантливые!) — он так и не выучился самой элементарной технике стихотворства, и теперь стихи его сплошь и рядом неряшливо-банальны.

Вл. Нарбут, автор «Аллилуйи», поражал всех своим «бесстрашным» реализмом, который соединялся у него с самой причудливой фантастикой. Все, что он писал — было оригинально, интересно и талантливо — но сделано топорно, кое-как — без любви к поэзии, без знания ее законов, без признаков традиции и школы. Мне всегда казалось, что ему следует писать прозой, а не стихами. Где он теперь — в литературе ли — не знаю.

Зенкевич был интересен, как личность. Это был, может быть, единственный из всего кружка, поэт с мировоззрением — очень мрачным, видевшим в мире — только вещество, и крепко привязанный к этому мировому веществу, в котором не находил смысла. В нем был скорее — вообще личный, чем именно поэтический талант. И он — исчез из литературы.

Мандельштам, кажется, стал популярен. Превращение его из утонченнейшего символиста в акмеиста было внезапно и неожиданно. Но акмеистом он был логически-добросовестным, наиболее последовательным из всех — до тенденциозности. Он — наиболее литературен из всего кружка, в нем очевидны — грация, школа, техническая выучка, преданность словесному искусству и знание его — все, что нет у Нарбута и Зенкевича. Но несмотря на эти качества, а может быть и с их прямой помощью, стихи его часто производят впечатление не подлинной поэзии, а поэтических препаратов. Особенно ясно это — при сравнении с непосредственно одаренной лирическим даром Анной Ахматовой.

М. Моравская, рассказывающая в рифмованной полупрозе о своих домашних вещах и домашних настроениях; Георгий Иванов, научившийся недурно писать о чем угодно — и некоторые другие, не враждебно и не дружелюбно, а как-то кисло-сладко встретившие декларацию акмеистов — были схвачены потоком эклектизма и оппортунизма, захлестнувшим нашу поэзию. В этом потоке они потерялись и исчезли — так и должно было быть.

А в будущем? Истинные дарования вынырнут, конечно, из всякого потока. Но новая школа — не эфемерная, а действительно новая и действительно школа — вряд ли появится скоро, как бы ни вызывали ее наши современники из небытия.

Василий Васильевич Гиппиус (1890—1942) — поэт («поэту нежному» — надписала ему «Вечер» Ахматова) и литературовед. Рецензия его на «Вечер» напечатана в журнале «Новая жизнь» (1912, № 3), воспоминания о Цехе поэтов — в одесском журнале «Жизнь» (1918, № 5), экспромт в триолетах сохранился в архиве Михаила Лозинского. Лозинский и Вас. Гиппиус не присоединились к группе акмеистов, храня верность и читательскую благодарность поэтам-символистам. Лев Николаевич Гумилев (который «в Царском воет») родился 1 октября 1912 года по новому стилю.

Слепнево

Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев. В моей комнате (на север) висела большая икона — Христос в темнице. Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть... Над диваном висел небольшой портрет Николая I не как у снобов в Петербурге — почти как экзотика, а просто, сериозно по-Онегински («Царей портреты на стене»). Было ли в комнате зеркало — не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо. Там я встретила войну 1914 года, там провела последнее лето (1917).

...Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею. Стихи шли легкой свободной поступью. Я ждала письма, которое так и не пришло — никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну...

Бабы выходили в поле на работу в домотканных сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй.

В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К Слепневским господам хранцужóнка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин — очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называли меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье.

Николай Степанович не выносил Слепнева. Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении. Писал «такая скучная не золотая старина» и наполнял альбом Кузьминых-Караваевых посредственными стихами. Но, однако, что-то понял и чему-то научился.

Я не каталась верхом и не играла в теннис, а я только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате (1911)...

Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в девятнадцатый век, чуть не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год. После угрюмого военного Севастополя, где я задыхалась от астмы и мерзла в холодной наемной комнате, мне казалось, что я попала в какую-то обетованную страну. А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали революцию, которая была назначена на 20 января (в этот день я обедала у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: «В день Русской Революции». Другой рисунок (сохранившийся) он надписал: «Солдатке Гумилевой, от чертежника Альтмана»).

В оригинале этого наброска имеется еще перечень окрестных сел и живших там соседей: «Березки и Подобино. Дубровка. Тетя Пофи и Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (рожденная Пиленко). Неведомские. Хилковы».

О тете Пофи рассказывается в мемуарах В. А. Неведомской: «Между многочисленными тетушками, приезжавшими на лето в нашу усадьбу, была очаровательная тетя Пофинька. Ей было тогда 86 лет. В молодости у нее был какой-то бурный роман, в результате которого она не вышла замуж и законсервировалась, как маленькая, сухонькая мумия. На плечах всегда кружевная мантилька, на руках минетки, на голове кружевная косынка и поверх нее — даже в комнате — шляпа, чтобы свет не слепил глаза. Нам было известно, что тетя Пофинька в течение 50 лет вела дневник на французском языке. Мы все — члены семьи и наши гости — фигурировали в этом дневнике и Гумилеву страшно хотелось узнать, как мы все отражаемся в мозгу тети Пофиньки. Он повел регулярную осаду на старушку, гулял с ней по аллеям, держал шерсть, которую она скатывала в клубок, наводил ее на воспоминания молодости. Не прошло и недели, как он стал ее фаворитом и приглашался в комнату тети Пофиньки слушать выдержки из заветного дневника. Кончился этот флирт весьма забав-

но: в одной беседе тетя Пофинька ополчилась на гигантские шаги, которыми мы тогда увлекались, но которые, по ее мнению, были «неприличны». Для убедительности она рассказала ряд случаев — поломанные ноги, расшибленные головы — все, якобы, на гигантских шагах. Николай Степанович слушал очень внимательно и наконец серьезно и задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, почему в Тверской губернии так мало помещиков: оказывается 50% их погибло на гигантских шагах!» Этой иронии тетя Пофинька никогда не простила Николаю Степановичу, и дневник ее закрылся для него навсегда».

(*Новый журнал*, Нью Йорк, 1954, № 38).

Хилковы — семья князя М. И. Хилкова, министра путей сообщения, умершего в 1909 году. Сын его М. М. Хилков (умерший в Бежецке в 1921 году) служил в Министерстве финансов.

Сергей Дедюлин. Из беседы с Дмитрием Бушеном

Художник Дмитрий Бушен, родившийся в 1893 году, провел детство и юность в Петербурге. После революции работал в Эрмитаже. В 1925 году вместе со своим другом, известным искусствоведом Сергеем Эрнстом, выехал во Францию. Приобрел известность, в первую очередь, театрально-декорационными работами. Его портреты писали Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова и многие иностранные художники. Статьи о его творчестве принадлежат перу А. Н. Бенуа, Ж. Жироду и др. Д. Д. Бушен был близко знаком со многими деятелями русской и мировой культуры. В нашей беседе речь шла о Николае Гумилеве.

— Дмитрий Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, хотя бы коротко о Вашей семье.

— Бушены — древний французский род, который в 1685 году, после отмены Нантского эдикта, покинул Францию. После многолетних скитаний по Европе, в конце царствования Екатерины II мои предки обосновались в России. Мой отец был военным. Из-за нездоровья моя мать была вынуждена жить на Лазурном берегу. Так получилось, что я родился в Сен-Тропезе. Моим первым языком был француз-

ский. Мать я совсем не помню, она умерла в Петербурге, когда мне было два года. Потом отец был военным комендантом Варшавы и женился второй раз, а я примерно с 1905 года жил у его сестры, Екатерины Дмитриевны Кузьминой-Караваевой. Через эту семью я и являюсь родственником Николая Гумилева. Их имение, Борисково, находилось неподалеку от Слепнева, имения Анны Ивановны Гумилевой, матери Николая Степановича. В Борискове мы обычно проводили лето, там я его и встретил.

— Вы видели Гумилева всегда в большой компании, или же разговаривали с ним и наедине?

— Когда я подрос, он заинтересовался моими занятиями в Обществе поощрения художеств, рассказывал мне о Париже, о художниках (например, о Пикассо), просил показать ему мои рисунки.

Николай Степанович был статный, высокий, но лицом некрасивый. Однако очень интересный. Когда он говорил, все было так интересно, что вы забывали о том, как он выглядит.

Гумилев был абсолютно бесстрашный. Ездил верхом плохо, то есть неграмотно (я мог судить, потому что знал, как надо ездить). Но зато он вскакивал на седло и, стоя на лошади, мог так ехать верхом.

Помню, 15 июля 1911 года в Борискове его попросили читать стихи — он повернулся к Анне Андреевне и сказал: «Аня, ты позволяешь?» Она сказала: «Да». И он прочел:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью...

Прочел полуиронически, полупочтительно. Впрочем, он относился к Анне Ахматовой всегда очень почтительно. Надо сказать, что позднее его, несомненно, раздражало, что она слишком быстро стала знаменитой. Это было время, когда она была в него особенно влюблена; но и в нее все влюблялись, и вначале были такие между ними «стычки». Но потом больше виноват оказался Гумилев — ведь первым изменил все-таки он:

Как вплелась в мои темные косы
Серебритая белая прядь,—
Только ты, соловей безголосый,
Эту муку сумеешь понять...

Потом, когда она была уже давно разведена и мы с ней были дружны, Анна Андреевна мне сказала, что написала эти стихи, когда поняла, что он ей изменяет. Она его любила. В сущности, и он ее любил, по-своему. Но он хотел свободы, понимаете. Ни одна красивая женщина не могла пройти мимо, чтобы он ее не пожелал. Такой Дон Жуан, ничего не поделаешь. И он ей дал полную свободу, делай что хочешь. Было это уже после рождения Левы.

— Встречались ли Вы с Гумилевым в Петергбурге?

— Я бывал у них в Царском Селе, где я познакомился со многими литераторами и художниками, видел Гумилева и в «Бродячей собаке», где он читал свои стихи.

— А после революции Вы с ним не встречались?

— Виделся, но редко, был у Гумилева незадолго до его гибели. Он был тогда уже женат второй раз, на Анне Энгельгардт.

И он мне сказал тогда невероятно странную вещь: «Ну, большевики скоро кончатся. Я знаю, они будут только пять лет». А я ему ответил: «Николай Степанович, ну, хорошо, пять лет. А когда пять лет пройдут, что будет? Кто же будет править Россией? Ведь никого нет». Знаете, что он мне ответил? —«Патриарх».

— Это не могло быть с его стороны шуткой?

— Нет. Он был очень религиозный человек. Гумилев не проходил мимо ни одной церкви, не сняв шапки, не перекрестившись.

— Рисовали ли Вы когда-нибудь Гумилева?

— Нет, никогда.

— А над портретами Анны Ахматовой Вы работали?

— Нет, ни разу. Но когда она приезжала в 1965 году в Париж, то она говорила мне, что якобы я делал на нее «карикатуры». Но я этого абсолютно не помню. Да тогда я и не смел себе позволить рисовать Анну Андреевну! Вот Зинаиду Серебрякову мы вместе с Сергеем Эрнстом, когда все жили в одной квартире после революции, ее мы уговорили сде-

лать портрет Ахматовой. Этот портрет был готов в один сеанс! Он сейчас находится в Париже.

— Дмитрий Дмитриевич, вот вполне солидное издание — блоковский том «Литературного наследства», вышедший в 1982 году в Москве. Здесь воспроизведен портрет Ахматовой, рисунок, под которым напечатано Ваше имя; датирован он 1916 годом.

— Это не имеет ко мне абсолютно никакого отношения, это не мой рисунок. Возможно, это рука Делла-Вос-Кардовской, не знаю. Они могут писать все что угодно! Мне все равно. Но этого я никогда не рисовал.

Беседа с Д. Д. Бушеном опубликована в «Литературном приложении» № 3/4 к газете «Русская мысль» (Париж, 1987, 5 июня).

I

СМЯТЕНИЕ

1

Было душно от жгучего света,
А взгляды его — как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Наклонился — он что-то скажет...
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь.

2

Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.

3

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся,
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся —

И загадочных, древних ликов
На меня поглядели очи...
Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И сказала его — напрасно.
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто и ясно.

1913

ПРОГУЛКА

Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.

Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом сблачных небес,
И словно тушью нарисован
В альбоме старом Булонский лес.

Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой...
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

1913

ВЕЧЕРОМ

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса —
Ты первый раз одна с любимым».

1913

\+ + +

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

1 января 1913

\+ \+ \+

После ветра и мороза было
Любо мне погреться у огня.
Там за сердцем я не уследила,
И его украли у меня.

Новогодний праздник длится пышно,
Влажны стебли новогодних роз,
А в груди моей уже не слышно
Трепетания стрекоз.

Ах! не трудно угадать мне вора,
Я его узнала по глазам.
Только страшно так, что скоро, скоро
Он вернет свою добычу сам.

1914

\+ \+ \+

...И на ступеньки встретить
Не вышли с фонарем.
В неверном лунном свете
Вошла я в тихий дом.

Под лампою зеленой,
С улыбкой неживой,
Друг шепчет: «Сандрильона,
Как странен голос твой...»

В камине гаснет пламя;
Томя, трещит сверчок.
Ах! кто-то взял на память
Мой белый башмачок.

И дал мне три гвоздики,
Не подымая глаз.
О милые улики,
Куда мне спрятать вас?

И сердцу горько верить,
Что близок, близок срок,
Что всем он станет мерить
Мой белый башмачок.

1913

\+ + +

Безвольно пощады просят
Глаза. Что мне делать с ними,
Когда при мне произносят
Короткое, звонкое имя?

Иду по тропинке в поле
Вдоль серых сложенных бревен.
Здесь легкий ветер на воле
По-весеннему свеж, неровен.

И томное сердце слышит
Тайную весть о дальнем.
Я знаю: он жив, он дышит,
Он смеет быть не печальным.

1912

\+ + +

Покорно мне воображенье
В изображенье серых глаз.
В моем тверском уединенье
Я горько вспоминаю Вас.

Прекрасных рук счастливый пленник
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели Вы,

4—583

Вы, приказавший мне: довольно,
Поди, убей свою любовь!
И вот я таю, я безвольна,
Но все сильней скучает кровь.

И если я умру, то кто же
Мои стихи напишет Вам,
Кто стать звенящими поможет
Еще не сказанным словам?

Слепнево
1913

ОТРЫВОК

...И кто-то, во мраке дерев незримый,
Зашуршал опавшей листвой
И крикнул: «Что сделал с тобой любимый,
Что сделал любимый твой!

Словно тронуты черной, густою тушью
Тяжелые веки твои.
Он предал тебя тоске и удушью
Отравительницы-любви.

Ты давно перестала считать уколы —
Грудь мертва под острой иглой.
И напрасно стараешься быть веселой —
Легче в гроб тебе лечь живой!...»

Я сказала обидчику: «Хитрый, черный,
Верно, нет у тебя стыда.
Он тихий, он нежный, он мне покорный,
Влюбленный в меня навсегда!»

1912

\+ + +

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.

И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои!

1913

\+ + +

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.

Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.

Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх,
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы!

1913

\+ + +

У меня есть улыбка одна:
Так, движенье чуть видное губ.
Для тебя я ее берегу —
Ведь она мне любовью дана.

Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других,
Предо мной золотой аналой,
И со мной сероглазый жених.

1913

\+ + +

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.

И я стану — Христос помоги! —
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый,
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво...
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.

1913

\+ + +

В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводненья в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине — нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость! —

Затем что воздух был совсем не наш,
А как подарок Божий — так чудесен.
И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.

1914

\+ + +

Здравствуй! Легкий шелест слышишь
Справа от стола?
Этих строчек не допишешь —
Я к тебе пришла.
Неужели ты обидишь
Так, как в прошлый раз, —
Говоришь, что рук не видишь,
Рук моих и глаз.
У тебя светло и просто.
Не гони меня туда,
Где под душным сводом моста
Стынет грязная вода.

1913

II

\+ + +

Цветов и неживых вещей
Приятен запах в этом доме.
У грядок груды овощей
Лежат, пестры, на черноземе.

Еще струится холодок,
Но с парников снята рогожа.
Там есть прудок, такой прудок,
Где тина на парчу похожа.

А мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взволнованно и тихо,
Что там живет большой карась
И с ним большая карасиха.

1913

\+ + +

Каждый день по-новому тревожен,
Все сильнее запах спелой ржи.
Если ты к ногам моим положен,
Ласковый, лежи.

Иволги кричат в широких кленах,
Их ничем до ночи не унять.
Любо мне от глаз твоих зеленых
Ос веселых отгонять.

На дороге бубенец зазвякал —
Памятен нам этот легкий звук.
Я спою тебе, чтоб ты не плакал,
Песенку о вечере разлук.

1913

\+ + +

Мальчик сказал мне: «Как это больно!»
И мальчика очень жаль...
Еще так недавно он был довольным
И только слыхал про печаль.

А теперь он знает все не хуже
Мудрых и старых вас.
Потускнели и, кажется, стали уже
Зрачки ослепительных глаз.

Я знаю: он с болью своей не сладит,
С горькой болью первой любви.
Как беспомощно, жадно и жарко гладит
Холодные руки мои.

1913

\+ + +

Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь...
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть —

За розы с площадки круглой,
За глупые письма твои,
За то, что, дерзкий и смуглый,
Мутно бледнел от любви.

Я думала: ты нарочно —
Как взрослые хочешь быть.
Я думала: томно-порочных
Нельзя, как невест, любить.

Но все оказалось напрасно.
Когда пришли холода,
Следил ты уже бесстрастно
За мной везде и всегда,

Как будто копил приметы
Моей нелюбви. Прости!
Зачем ты принял обеты
Страдальческого пути?

И смерть к тебе руки простерла...
Скажи, что было потом?
Я не знала, как хрупко горло
Под синим воротником.

Прости меня, мальчик веселый,
Совенок замученный мой!
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.

1913

+ + +

М. Лозинскому

Он длится без конца — янтарный, тяжкий день!
Как невозможна грусть, как тщетно ожиданье!
И снова голосом серебряным олень
В зверинце говорит о северном сиянье.
И я поверила, что есть прохладный снег
И синяя купель для тех, кто нищ и болен,
И санок маленьких такой неверный бег
Под звоны древние далеких колоколен.

1912

ГОЛОС ПАМЯТИ

О.А. Глебовой-Судейкиной

Что ты видишь, тускло на стену смотря,
В час, когда на небе поздняя заря?

Чайку ли на синей скатерти воды
Или флорентийские сады?

Или парк огромный Царского Села,
Где тебе тревога путь пересекла?

Иль того ты видишь у своих колен,
Кто для белой смерти твой покинул плен?

Нет, я вижу стену только — и на ней
Отсветы небесных гаснущих огней.

1913

\+ \+ \+

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

1912

\+ \+ \+

Здесь все то же, то же, что и прежде,
Здесь напрасным кажется мечтать.
В доме у дороги непроезжей
Надо рано ставни запирать.

Тихий дом мой пуст и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном,
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом.

Был он грустен или тайно-весел,
Только смерть — большое торжество.
На истертом красном плюше кресел
Изредка мелькает тень его.

И часы с кукушкой ночи рады,
Все слышней их четкий разговор.
В щелочку смотрю я: конокрады
Зажигают под холмом костер.

И, пророча близкое ненастье,
Низко, низко стелется дымок.
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.

1912

БЕССОННИЦА

Где-то кошки жалобно мяукают,
Звук шагов я издали ловлю...
Хорошо твои слова баюкают:
Третий месяц я от них не сплю.

Ты опять, опять со мной, бессонница!
Неподвижный лик твой узнаю.
Что, красавица, что, беззаконница,
Разве плохо я тебе пою?

Окна тканью белою завешены,
Полумрак струится голубой...
Или дальней вестью мы утешены?
Отчего мне так легко с тобой?

1912

\+ \+ \+

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля.
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб.

1913

\+ \+ \+

Углем наметил на левом боку
Место, куда стрелять,
Чтоб выпустить птицу — мою тоску
В пустынную ночь опять.

Милый! не дрогнет твоя рука,
И мне недолго терпеть.
Вылетит птица — моя тоска,
Сядет на ветку и станет петь.

Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,
Раскрывши окно, сказал:
«Голос знакомый, а слов не пойму»,—
И опустил глаза.

1914

III

\+ + +

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, всегда в путях своих уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это Ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?

1912
Флоренция

\+ + +

Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом желтую муть.
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть.

Стать бы снова приморской девчонкой,
Туфли на босу ногу надеть,
И закладывать косы коронкой,
И взволнованным голосом петь.

Все глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца.

1913

\+ + +

Плотно сомкнуты губы сухие,
Жарко пламя трех тысяч свечей.
Так лежала княжна Евдокия
На сапфирной душистой парче.

И, согнувшись, бесслезно молилась
Ей о слепеньком мальчике мать,
И кликуша без голоса билась,
Воздух силясь губами поймать.

А пришедший из южного края
Черноглазый, горбатый старик,
Словно к двери небесного рая,
К потемневшей ступеньке приник.

1913

\+ + +

Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печали в пути.
Как же мне душу скудную
Богатой Тебе принести?
Долгую песню, льстивая,
О славе поет судьба.

Господи! я нерадивая,
Твоя скупая раба.
Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах Отца.
Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца.

1912

\+ + +

Солнце комнату наполнило
Пылью желтой и сквозной.
Я проснулась и припомнила:
Милый, нынче праздник твой.

Оттого и оснеженная
Даль за окнами тепла,
Оттого и я, бессонная,
Как причастница спала.

8 ноября 1913

\+ + +

Ты пришел меня утешить, милый,
Самый нежный, самый кроткий...
От подушки приподняться нету силы,
А на окнах частые решетки.

Мертвой, думал, ты меня застанешь,
И принес веночек неискусный.
Как улыбкой сердце больно ранишь,
Ласковый, насмешливый и грустный.

Что теперь мне смертное томленье!
Если ты еще со мной побудешь,
Я у Бога вымолю прощенье
И тебе, и всем, кого ты любишь.

1913

\+ + +

Умирая, томлюсь о бессмертьи.
Низко облако пыльной мглы...
Пусть хоть голые красные черти,
Пусть хоть чан зловонной смолы.

Приползайте ко мне, лукавьте,
Угрозы из ветхих книг,
Только память вы мне оставьте,
Только память в последний миг.

Чтоб в томительной веренице
Не чужим показался ты,
Я готова платить сторицей
За улыбки и за мечты.

Смертный час, наклонясь, напоит
Прозрачною сулемой.
А люди придут, зароют
Мое тело и голос мой.

1912

\+ + +

Ты письмо мое, милый, не комкай.
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоем пути.

Не гляди так, не хмурься гневно.
Я любимая, я твоя.
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я —

В этом сером, будничном платье,
На стоптанных каблуках...

Но, как прежде, жгуче объятье,
Тот же страх в огромных глазах.

Ты письмо мое, милый, не комкай,
Не плачь о заветной лжи,
И его в твоей бедной котомке
На самое дно положи.

1912

ИСПОВЕДЬ

Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.

Не тот ли голос: «Дева! встань...»
Удары сердца чаще, чаще.
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.

1911. Царское Село

\+ + +

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой веселый.
Только, ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.

1912. Царское Село

\+ + +

Со дня Купальницы-Аграфены
Малиновый платок хранит.
Молчит, а ликует, как царь Давид.
В морозной келье белы стены,
И с ним никто не говорит.

Приду и стану на порог,
Скажу: «Отдай мне мой платок!»

1912

\+ + +

Я с тобой не стану пить вино,
Оттого что ты мальчишка озорной.
Знаю я — у вас заведено
С кем попало целоваться под луной.

А у нас — тишь да гладь,
Божья благодать.

А у нас — светлых глаз
Нет приказу подымать.

1913

\+ + +

Вечерние часы перед столом.
Непоправимо белая страница.
Мимоза пахнет Ниццей и теплом.
В луче луны летит большая птица.

И, туго косы на ночь заплетя,
Как будто завтра будут нужны косы,
В окно гляжу я, больше не грустя,
На море, на песчаные откосы.

Какую власть имеет человек,
Который даже нежности не просит!
Я не могу поднять усталых век,
Когда мое он имя произносит.

1913

IV

\+ \+ \+

Как вплелась в мои темные косы
Серебристая белая прядь,—
Только ты, соловей безголосый,
Эту муку сумеешь понять.

Чутким слухом далекое слышишь
И на тонкие ветки ракит,
Весь нахохлившись, смотришь —
не дышишь.
Если песня чужая звучит.

И еще так недавно, недавно
Замирали вокруг тополя,
И звенела и пела отравно
Несказанная радость твоя.

1912

\+ \+ \+

Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра.

Поседели твои волосы. Глаза
Замутила, затуманила слеза.

Ты уже не понимаешь пенья птиц,
Ты ни звезд не замечаешь, ни зарниц.

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.

Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра.

Ты пришла меня похоронить.
Где же заступ твой, где лопата?
Только флейта в руках твоих.
Я не буду тебя винить,
Разве жаль, что давно, когда-то,
Навсегда мой голос затих.

Мои одежды надень,
Позабудь о моей тревоге,
Дай ветру кудрями играть.
Ты пахнешь, как пахнет сирень,
А пришла по трудной дороге,
Чтобы здесь озаренной стать.

И одна ушла, уступая,
Уступая место другой.
И неверно брела, как слепая,
Незнакомой узкой тропой.

И все чудилось ей, что пламя
Близко... бубен держит рука.
И она как белое знамя,
И она как свет маяка.

1912

СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ

1

Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра...
Стынет в грозном нетерпенье
Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь...
Ах! своей столицей новой
Недоволен Государь.

2

Сердце бьется ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Неоткрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес,—

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий.
Ах! любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера,—
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

1913

\+ + +

Меня покинул в новолунье
Мой друг любимый. Ну так что ж!
Шутил: «Канатная плясунья!
Как ты до мая доживешь?»

Ему ответила, как брату,
Я, не ревнуя, не ропща,
Но не заменят мне утрату
Четыре новые плаща.

Пусть страшен путь мой, пусть опасен,
Еще страшнее путь тоски...
Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки!

Оркестр веселое играет,
И улыбаются уста.
Но сердце знает, сердце знает,
Что ложа пятая пуста!

1911

\+ + +

Знаю, знаю — снова лыжи
Сухо заскрипят.
В синем небе месяц рыжий,
Луг так сладостно покат.

Во дворце горят окошки,
Тишиной удалены.
Ни тропинки, ни дорожки,
Только проруби темны.

Ива, дерево русалок,
Не мешай мне на пути!
В снежных ветках черных галок,
Черных галок приюти.

1913

ВЕНЕЦИЯ

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое...
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

1912

\+ + +

Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.

От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.

И у окна белеют пяльцы...
Твой профиль тонок и жесток.
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.

А сердцу стало страшно биться,
Такая в нем теперь тоска...
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.

1912

ГОСТЬ

Всё как раньше: в окна столовой
Бьется мелкий метельный снег,
И сама я не стала новой,
А ко мне приходил человек.

Я спросила: «Чего ты хочешь?»
Он сказал: «Быть с тобой в аду».
Я смеялась: «Ах, напророчишь
Нам обоим, пожалуй, беду».

Но, поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
«Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты».

И глаза, глядящие тускло,
Не сводил с моего кольца,
Ни один не двинулся мускул
Просветленно-злого лица.

О, я знаю: его отрада —
Напряженно и страстно знать,
Что ему ничего не надо,
Что мне не в чем ему отказать.

1 января 1914

\+ + +

Александру Блоку

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

1914

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

В то время я гостила на земле.
Мне дали имя при крещенье — Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха.
Так дивно знала я земную радость
И праздников считала не двенадцать,
А столько, сколько было дней в году.
Я, тайному велению покорна,
Товарища свободного избрав,
Любила только солнце и деревья.

И осенью однажды иностранку
Я встретила в лукавый час зари,
И вместе мы купались в теплом море,
Ее одежда странной мне казалась,
Еще страннее — губы, а слова —
Как звезды падали сентябрьской ночью.
И стройная меня учила плавать,
Одной рукой поддерживая тело
Неопытное на тугих волнах.
И часто, стоя в голубой воде,
Она со мной неспешно говорила,
И мне казалось, что вершины леса
Слегка шумят, или хрустит песок,
Иль голосом серебряным волынка
Вдали поет о вечере разлук.
Но слов ее я помнить не могла
И часто ночью с болью просыпалась.
Мне чудился полуоткрытый рот,
Ее глаза и гладкая прическа.
Как вестника небесного, молила
Я девушку печальную тогда:
«Скажи, скажи, зачем угасла память
И, так томительно лаская слух,
Ты отняла блаженство повторенья...»
И только раз, когда я виноград
В плетеную корзинку собирала,
А смуглая сидела на траве,
Глаза закрыв и распустивши косы,
И томною была и утомленной
От запаха тяжелых синих ягод
И пряного дыханья дикой мяты,—
Она слова чудесные вложила
В сокровищницу памяти моей,
И, полную корзину уронив,
Припала я к земле сухой и душной,
Как к милому, когда поет любовь.

1913

ВОКРУГ «ЧЕТОК»

Н. С. Гумилев. Из «Письма о русской поэзии»

<...> В «Четках» Анны Ахматовой, наоборот, эйдологическая сторона продумана меньше всего. Поэтесса не «выдумала себя», не поставила, чтобы объединить свои переживания, в центре их какой-нибудь внешний факт, не обращается к чему-нибудь известному или понятному ей одной, и в этом ее отличие от символистов; но, с другой стороны, ее темы часто не исчерпываются пределами данного стихотворения, многое в них кажется необоснованным, потому что не досказано. Как у большинства молодых поэтов, у Анны Ахматовой часто встречаются слова: боль, тоска, смерть. Этот столь естественный и потому прекрасный юношеский пессимизм до сих пор был достоянием «проб пера» и, кажется, в стихах Ахматовой впервые получил свое место в поэзии. Я думаю, каждый удивлялся, как велика в молодости способность и охота страдать. Законы и предметы реального мира вдруг становятся на место прежних, насквозь пронизанных мечтою, в исполнение которой верил: поэт не может не видеть, что они самодовлеюще-прекрасны, и не умеет осмыслить себя среди них, согласовать ритм своего духа с их ритмом. Но сила жизни и любви в нем так сильна, что он начинает любить самое свое сиротство, постигает красоту боли и смерти. Позднее, когда его духу, усталому быть все в одном и том же положении, начнет являться «нечаянная радость», он почувствует, что человек может радостно воспринять все стороны мира, и из гадкого утенка, каким он был до сих пор в своих собственных глазах, он станет лебедем, как в сказке Андерсена.

Людям, которым не суждено дойти до такого превращенья, или людям, обладающим кошачьей памятью, привязывающейся ко всем пройденным этапам духа, книга Ахматовой покажется волнующей и дорогой. В ней обретает голос

ряд немых до сих пор существований,— женщины влюбленные, лукавые, мечтающие и восторженные говорят, наконец, своим подлинным и в то же время художественно-убедительным языком. Та связь с миром, о которой я говорил выше и которая является уделом каждого подлинного поэта, Ахматовой почти достигнута, потому что она знает радость созерцания внешнего и умеет передавать нам эту радость.

Плотно сомкнуты губы сухие,
Жарко пламя трех тысяч свечей.
Так лежала княжна Евдокия
На сапфирной душистой парче.

И, согнувшись, бесслезно молилась
Ей о слепеньком мальчике мать,
И кликуша без голоса билась,
Воздух силясь губами поймать.

А пришедший из южного края
Черноглазый, горбатый старик,
Словно к двери небесного рая,
К потемневшей ступеньке приник.

Тут я перехожу к самому значительному в поэзии Ахматовой, к ее стилистике: она почти никогда не объясняет, она показывает. Достигается это и выбором образов, очень продуманным и своеобразным, но главное — их подробной разработкой. Эпитеты, определяющие ценность предмета (как-то: красивый, безобразный, счастливый, несчастный и т. д.), встречаются редко. Эта ценность внушается описанием образа и взаимоотношением образов. У Ахматовой для этого много приемов. Укажу некоторые: сопоставление прилагательного, определяющего цвет, с прилагательным, определяющим форму:

...И густо плющ темнозеленый
Завил высокое окно.

или:

...Там малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...

повторение в двух соседних строках, удваивающее наше внимание к образу:

...Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты.

или:

...В снежных ветках черных галок,
Черных галок приюти.

претворение прилагательного в существительное:

...Оркестр веселое играет...
и т. д.

Цветовых определений очень много в стихах Ахматовой и чаще всего для желтого и серого, до сих пор самых редких в поэзии. И, может быть, как подтверждение неслучайности этого ее вкуса, большинство эпитетов подчеркивает именно бедность и неяркость предметов: «протертый коврик, стоптанные каблуки, выцветший флаг» и т. д. Ахматовой, чтобы полюбить мир, нужно видеть его милым и простым.

Ритмика Ахматовой служит могучим подспорьем ее стилистике. Пэоны и паузы помогают ей выделять самые нужные слова в строке, и я не нашел во всей книге ни одного примера ударения, стоящего на неударяемом слове, или, наоборот, слова, по смыслу ударного, без ударения. Если кто-нибудь возьмет на себя труд с этой точки зрения просмотреть сборник любого современного поэта, то убедится, что обыкновенно дело обстоит иначе. Для ритмики Ахматовой характерна слабость и прерывистость дыхания. Четырехстрочная строфа, а ею написана почти вся книга, слишком длинна для нее. Ее периоды замыкаются чаще всего двумя строками, иногда тремя, иногда, даже, одной. Причинная связь, которою она пытается заменить ритмическое единство строфы, по большей части достигает своей цели. Поэтессе следует выработать строфу, если она хочет овладеть композицией. Один непосредственный порыв не может служить основанием композиции. Вот почему Ахматова знает пока только последовательность логически развивающейся мысли или последовательность, в которой предметы попадают в поле зрения. Это не составляет недостатка

ее стихотворений, но это закрывает перед ней путь к достижению многих достоинств.

По сравнению с «Вечером», изданным два года тому назад, «Четки» представляют большой шаг вперед. Стих стал тверже, содержание каждой строки — плотнее, выбор слов — целомудренно-скупым, и, что лучше всего, пропала разбросанность мысли, столь характерная для «Вечера» и составляющая скорее психологический курьез, чем особенность поэзии.

Аполлон, 1914, № 5.

Леонид Канегиссер. Анна Ахматова. Четки. Стихи. 1914

Она живет в комнате, «где окна слишком узки», где на полках расставлены блестящие статуэтки, душно пахнет старое саше и не пахнут белые хризантемы и яркие георгины.

Все эти близкие предметы — ее основные понятия.

Природу понимает она только через них, небо в ее глазах, если оно тускло-голубое,— то оно, «как на древнем выцветшем холсте»; если оно яркое, то, непременно, «ярче синего фаянса»; тина похожа на парчу, Булонский лес — как будто нарисован тушью в старом альбоме, облачко сереет, «как беличья распластанная шкурка»...

Какая духовная скудость, какое неумение воспринимать мир непосредственно!

Пантеизм чужд ей совсем. Она знает только людей, дающих ей боль, и Бога, которому можно молиться о смерти. Иначе она не понимает и Бога.

Вся ее жизнь — «слава безысходной боли», и она ждет смерти, как большого торжества. А боль она понимает только в любви к избранному. Если она любит, то ее любовь — недуг, и другие болеют, любя ее. Не страдать любя кажется ей преступлением,— «как он смеет быть не печальным». Ее стихи рождаются только из муки. А мучится она не потому, что ее возлюбленный «наглый и злой и любит дру-

гих», не потому, что укравший ее сердце «вернет свою добычу сам», или что зеркала скажут ей: «взор твой не ясен, не ярок» — нет: мучиться и мучить — неизменная потребность ее души, и она верна ей.

Болезненная привязанность к страданию, с одной стороны, отчужденность от природы и широкого мира, с другой — основные черты характера поэтессы. И как одно придает пленительное обаяние ее стихам, так другое заключает ее дар в узкие пределы впечатлений тонких, но похожих одно на другое.

Огромное большинство человеческих чувств — вне ее душевных восприятий.

Но при всей своей ограниченности, поэтический талант у Ахматовой несомненно редкий. Ее глубокая искренность и правдивость, изысканность образов, вкрадчивая убедительность ритмов и певучая звучность стиха ставят ее на одно из первых мест в «интимной» поэзии.

Почти избегая словообразования,— в наше время так часто неудачного,— Ахматова умеет говорить так, что давно знакомые слова звучат ново и остро.

Автор этой рецензии, напечатанной под инициалами «Л. К.» в журнале «Северные записки» (1914, № 5) — поэт Леонид Иоакимович Канегиссер (1897—1918). О нем рассказано в мемуарном очерке Марины Цветаевой «Нездешный вечер». Канегиссер казнен за убийство председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого.

В. Дороватовская. Из статьи «Любовь и сострадание»

От гениальной Сафо осталось стихотворение, которое слишком напрашивается на сближение с такими же моментами в творчестве Ахматовой. Оно наводит на мысль об общности этих переживаний у женщин и о сходстве их литературных приемов. Здесь те же отрывочные, короткие фразы и часто одни только прерывистые слова, так хорошо выражающие крайнее волнение любви.

А я — чуть вдали завижу
Образ твой,— я сердца не чую в персях,
Уст не раскрыть мне!
Бледный нем язык, а по жилам тонкий
Знойным холодком пробегает пламень;
Гул в ушах; темнеют, потухли очи,
Ноги не держат.
Вся дрожу, мертвею; увлажнен потом
Бледный лед чела: словно смерть подходит...
Шаг один — и я бездыханным телом
Сникну на землю.

Сафо. «Любовь». Перевод Вячеслава Иванова. «Алкей и Сафо». Памятники мировой литературы, с. 85.

Это та же полная потеря сознания, тот же обморок, о котором мы только что читали в стихах Анны Ахматовой. <...>

Это сближение с древнегреческой поэтессой, которое часто встречается и в других этюдах об Ахматовой, содержится в статье Валентины Александровны Дороватовской-Любимовой (1895—1968), выпускницы Бестужевских курсов, впоследствии — советской детской писательницы. Статья напечатана в журнале «Жизнь для всех» (1917, № 2).

5—583

\+ + +

В сущности, никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале десятых годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской революции. Увы!

Анна Ахматова. Письма к Николаю Гумилеву

Слепнево. Лето 1914

13 июля

Милый Коля, 10-го приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе, верно, напишет мама. В июльской книге «Нового слова» меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, которые не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты au courant всех петербургских литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски, чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо, и, мне кажется, что мы его больше не увидим.

Вернешься ли ты в Слепнево? Или с начала августа будешь в Петербурге? Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов и очень жду вестей.

Целую, твоя Аня.

Завещание

Моей наследницею полноправной будь,
Живи в моем дому, пой песнь, что я сложила.

Как медленно еще скудеет сила,
Как хочет воздуха замученная грудь.

Моих друзей любовь, врагов моих вражду,
И розы желтые в моем густом саду,
И нежность жгучую любовника — все это
Я отдаю тебе, предвестница рассвета.

И славу, то, зачем я родилась,
Зачем моя звезда, как некий вихрь, взвилась
И падает теперь. Смотри, ее паденье
Пророчит власть твою, любовь и вдохновенье.

Мое наследство щедрое храня,
Ты проживешь и долго и достойно.
Все это будет так. Ты видишь, я спокойна,
Счастливой будь, но помни про меня.

1914. Ник<олаевская> ж. д.

Письмо послано Гумилеву в Петербург. В нем упоминаются литератор круга журнала «Аполлон» Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884—1954), неоднократно писавший о творчестве Ахматовой, и книга переводов И. Эренбурга из французского поэта Франсиса Жамма.

17 июля

Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе.

Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно, кажется, имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверно, тоже.

С «Аполлона» получишь пустяки. А нам уже в августе нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с «Четок» что-

нибудь получишь. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи, если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать. Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С недобрым чувством жду июльскую «Русскую мысль». Вероятнее всего, там свершит надо мною страшную казнь Valere. Но думаю о горчайшем, уже перенесенном и смиряюсь.

Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый! Целую.

Твоя Анна.

Левушка здоров и все умеет говорить. <...>

К письму было приложено стихотворение «Целый год ты со мной неразлучен...». Лекция Корнея Чуковского об акмеизме не читалась, но соответствующая статья была напечатана год спустя как рецензия на книгу Сергея Городецкого «Цветущий посох». Отзыва Валерия Брюсова на «Четки» в журнале «Русская мысль» Ахматова дождалась. Там было сказано, что «ограниченность» «поэтического горизонта» не позволит поэзии Ахматовой получить «значение всеобщее», хотя в целом мастерство автора оценивалось высоко. Слова о «перенесенном горчайшем», может быть, относятся к требовательной рецензии на «Четки», написанной Гумилевым.

Анна Ахматова. Письмо к Георгию Чулкову

Слепнево. Лето 1914

16—19 июля

Милый Георгий Иванович, не ссорьтесь со мной из-за моего молчания. Я так рада получать письма от Вас и отвечать, конечно, буду. А то, что Вы ни жить, ни умирать не хотите — для меня и есть самое понятное.

Здесь тихо, скучно и немного страшно. Вести извне звучат совсем невероятно, людей я не вижу и вообще как-то присмирела. Недавно начала писать наконец большую вещь, но, кажется, мне тишина мешает. И все вокруг такое померкшее, стертое и, главное, связанное с целым рядом горьких событий.

«Сатану» я прочла еще в Петербурге и нахожу, что это лучшая из Ваших вещей. Николай Степанович просит меня Вам передать, что ему «Сатана» совсем понравился. Что Вы теперь пишете? — Неужели Вам горы не мешают? Вы в Лозанне. Там все дома одного цвета, очень крутые улицы и очень много русских.

Знаете, я не верю, что Вы старый. Вы вообще не будете старым в дурном смысле этого слова.

Я, может быть, поеду на 6 недель в Швейцарию, в Leysin. Там мой брат лечится солнцем. Думаю о путешествии с радостью, здесь иногда бывает нестерпимо.

Кланяйтесь, пожалуйста, Надежде Григорьевне. Как она себя чувствует, отдохнула ли?

Не забывайте меня. Когда будут стихи, пошлю Вам непременно.

Анна Ахматова

Экземпляр «Жатвы», который Вы мне дали, я отдала, как Вы просили, Щеголеву, потому что в тот же день получила свой.

В этом письме (хранящемся в ЦГАЛИ) — первое упоминание о поэме «У самого моря», начатой в эти дни в Слепневе. 19 июля в деревне узнали об объявлении войны. Поэму Ахматова кончала уже в октябре 1914 года в Царском Селе.

\+ \+ \+

XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют. Несомненно, символизм — явление 19-го века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20 века и не хотели оставаться в предыдущем. Н<иколай> С<тепанович> моложе Блока только на 7 л<ет>, но между ними — бездна... Однако у него еще был период символизма. Мы же, Мандельштам, Зенкевич, Нарбут и я, символизма и не нюхали.

БЕЛАЯ СТАЯ

I

\+ \+ \+

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днем,—
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

1915

\+ \+ \+

Твой белый дом и тихий сад оставлю.
Да будет жизнь пустынна и светла.
Тебя, тебя в моих стихах прославлю,
Как женщина прославить не могла.
И ты подругу помнишь дорогую
В тобою созданном для глаз ее раю,
А я товаром редкостным торгую —
Твою любовь и нежность продаю.

1913

УЕДИНЕНИЕ

Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен.

Строителей ее благодарю,
Пусть их забота и печаль минует.
Отсюда раньше вижу я зарю,
Здесь солнца луч последний торжествует.
И часто в окна комнаты моей
Влетают ветры северных морей,
И голубь ест из рук моих пшеницу...
А не дописанную мной страницу —
Божественно спокойна и легка,
Допишет Музы смуглая рука.

1914

ПЕСНЯ О ПЕСНЕ

Она сначала обожжет,
Как ветерок студеный,
А после в сердце упадет
Одной слезой соленой.

И злому сердцу станет жаль
Чего-то. Грустно будет.
Но эту легкую печаль
Оно не позабудет.

Я только сею. Собирать
Придут другие. Что же!
И жниц ликующую рать
Благослови, о Боже!

А чтоб Тебя благодарить
Я смела совершенней,
Позволь мне миру подарить
То, что любви нетленней.

1916

\+ + +

Слаб голос мой, но воля не слабеет,
Мне даже легче стало без любви.
Высоко небо, горный ветер веет,
И непорочны помыслы мои.

Ушла к другим бессонница-сиделка,
Я не томлюсь над серою золой,
И башенных часов кривая стрелка
Смертельной мне не кажется стрелой.

Как прошлое над сердцем власть теряет!
Освобожденье близко. Все прощу,
Следя, как луч взбегает и сбегает
По влажному весеннему плющу.

1912

\+ + +

Был он ревнивым, тревожным и нежным,
Как Божье солнце, меня любил,
А чтобы она не запела о прежнем,
Он белую птицу мою убил.

Промолвил, войдя на закате в светлицу:
«Люби меня, смейся, пиши стихи!»
И я закопала веселую птицу
За круглым колодцем у старой ольхи.

Ему обещала, что плакать не буду,
Но каменным сделалось сердце мое,
И кажется мне, что всегда и повсюду
Услышу я сладостный голос ее.

1914

\+ + +

Тяжела ты, любовная память!
Мне в дыму твоем петь и гореть,
А другим — это только пламя,
Чтоб остывшую душу греть.

Чтобы греть пресыщенное тело,
Им надобны слезы мои...
Для того ль я, Господи, пела,
Для того ль причастилась любви!

Дай мне выпить такой отравы,
Чтобы сделалась я немой,
И мою бесславную славу
Осиянным забвением смой.

1914

\+ + +

Потускнел на небе синий лак,
И слышнее песня окарины.
Это только дудочка из глины,
Не на что ей жаловаться так.
Кто ей рассказал мои грехи
И зачем она меня прощает?
Или этот голос повторяет
Мне твои последние стихи?

1912

\+ + +

В. С. Срезневской

Вместо мудрости — опытность, пресное,
Неутоляющее питье.

А юность была — как молитва воскресная...
Мне ли забыть ее?

Столько дорог пустынных исхожено
С тем, кто мне не был мил,
Столько поклонов в церквах положено
За того, кто меня любил...

Стала забывчивей всех забывчивых,
Тихо плывут года.
Губ нецелованных, глаз неулыбчивых
Мне не вернуть никогда.

1913

\+ \+ \+

А! Это снова ты. Не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным
Ты в этот дом вошел и на меня глядишь.
Страшна моей душе предгрозовая тишь.
Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою,
Врученным мне навек любовью и судьбою.
Я предала тебя. И это повторять —
О, если бы ты мог когда-нибудь устать!
Так мертвый говорит, убийцы сон тревожа,
Так Ангел Смерти ждет у рокового ложа.
Прости меня теперь. Учил прощать Господь.
В недуге горестном моя томится плоть,
А вольный дух уже почиет безмятежно.
Я помню только сад, сквозной, осенний, нежный,
И крики журавлей, и черные поля...
О, как была с тобой мне сладостна земля!

1916

\+ + +

Муза ушла по дороге,
Осенней, узкой, крутой,
И были смуглые ноги
Обрызганы крупной росой.

Я долго ее просила
Зимы со мной подождать,
Но сказала: «Ведь здесь могила,
Как ты можешь еще дышать?»

Я голубку ей дать хотела,
Ту, что всех в голубятне белей,
Но птица сама полетела
За стройной гостьей моей.

Я, глядя ей вслед, молчала,
Я любила ее одну,
А в небе заря стояла,
Как ворота в ее страну.

1915

\+ + +

Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.

1915

+ + +

М. Лозинскому

Они летят, они еще в дороге,
Слова освобожденья и любви,
А я уже в предпесенной тревоге,
И холоднее льда уста мои.

Но скоро там, где жидкие березы,
Прильнувши к окнам, сухо шелестят,—
Венцом червонным заплетутся розы
И голоса незримых прозвучат.

А дальше—свет невыносимо щедрый,
Как красное горячее вино...
Уже душистым, раскаленным ветром
Сознание мое опалено.

1916

+ + +

О, это был прохладный день
В чудесном городе Петровом!
Лежал закат костром багровым,
И медленно густела тень.

Ты только тронул грудь мою,
Как лиру трогают поэты,
Чтоб слышать кроткие ответы
На требовательное «люблю»!

Тебе не надо глаз моих,
Пророческих и неизменных,
Но за стихом ты ловишь стих,
Молитвы губ моих надменных.

1913

\+ + +

Я так молилась: «Утоли
Глухую жажду песнопенья!»
Но нет земному от земли
И не было освобожденья.

Как дым от жертвы, что не мог
Взлететь к престолу Сил и Славы,
А только стелется у ног,
Молитвенно целуя травы,—

Так я, Господь, простерта ниц:
Коснется ли огонь небесный
Моих сомкнувшихся ресниц
И немоты моей чудесной?

1913

\+ + +

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти,—
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие — поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

1915

\+ + +

Все отнято: и сила, и любовь.
В немилый город брошенное тело
Не радо солнцу. Чувствую, что кровь
Во мне уже совсем похолодела.

Веселой Музы нрав не узнаю:
Она глядит и слова не проронит,
А голову в веночке темном клонит,
Изнеможенная, на грудь мою.

И только совесть с каждым днем страшней
Беснуется: великой хочет дани.
Закрыв лицо, я отвечала ей...
Но больше нет ни слез, ни оправданий.

1916

\+ + +

Нам свежесть слов и чувства простоту
Терять не то ль, что живописцу — зренье
Или актеру — голос и движенье,
А женщине прекрасной — красоту?

Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены — и это знаем сами —
Мы расточать, а не копить.

Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы.

1915

ОТВЕТ

Гр. В.А. Комаровскому

Какие странные слова
Принес мне тихий день апреля.
Ты знал, во мне еще жива
Страстная страшная неделя.

Я не слыхала звонов тех,
Что плавали в лазури чистой.
Семь дней звучал то медный смех,
То плач струился серебристый.

А я, закрыв лицо мое,
Как перед вечною разлукой,
Лежала и ждала ее,
Еще не названную мукой.

Царское Село
1914

\+ \+ \+

Был блаженной моей колыбелью
Темный город у грозной реки
И торжественной брачной постелью,
Над которой держали венки
Молодые твои серафимы,—
Город, горькой любовью любимый.

Солеёю молений моих
Был ты, строгий, спокойный, туманный.
Там впервые предстал мне жених,
Указавши мой путь осиянный,
И печальная Муза моя,
Как слепую, водила меня.

1914

II

9 ДЕКАБРЯ 1913 ГОДА

Самые темные дни в году
Светлыми стать должны.
Я для сравнения слов не найду —
Так твои губы нежны.

Только глаза подымать не смей,
Жизнь мою храня.
Первых фиалок они светлей,
А смертельные для меня.

Вот поняла, что не надо слов,
Оснеженные ветки легки...
Сети уже разостлал птицелов
На берегу реки.

\+ \+ \+

Как ты можешь смотреть на Неву,
Как ты смеешь всходить на мосты?..
Я недаром печальной слыву
С той поры, как привиделся ты.
Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры,
Словно розы, в снегу цветут.

1914

\+ + +

Под крышей промерзшей пустого жилья
Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья Апостолов я,
Слова Псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней,—
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.

1915

\+ + +

Целый год ты со мной неразлучен,
А как прежде и весел и юн!
Неужели же ты не измучен
Смутной песней затравленных струн,—
Тех, что прежде, тугие, звенели,
А теперь только стонут слегка,
И моя их терзает без цели
Восковая, сухая рука...
Верно, мало для счастия надо
Тем, кто нежен и любит светло,
Что ни ревность, ни гнев, ни досада
Молодое не тронут чело.
Тихий, тихий, и ласки не просит,
Только долго глядит на меня
И с улыбкой блаженной выносит
Страшный бред моего забытья.

1914

\+ + +

Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.

Липы шумные и вязы
По садам темны,
Звезд иглистые алмазы
К Богу взнесены.

Путь мой жертвенный и славный
Здесь окончу я.
И со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя.

1914. Киев

\+ + +

Еще весна таинственная млела,
Блуждал прозрачный ветер по горам
И озеро глубокое синело —
Крестителя нерукотворный храм.

Ты был испуган нашей первой встречей,
А я уже молилась о второй,
И вот сегодня снова жаркий вечер,—
Как низко стало солнце над горой...

Ты не со мной, но это не разлука:
Мне каждый миг — торжественная весть.
Я знаю, что в тебе такая мука,
Что ты не можешь слова произнесть.

Весна 1917

РАЗЛУКА

Вечерний и наклонный
Передо мною путь.
Вчера еще, влюбленный,
Молил: «Не позабудь».
А нынче только ветры
Да крики пастухов,
Взволнованные кедры
У чистых родников.

1914

\+ \+ \+

Чернеет дорога приморского сада,
Желты и свежи фонари.
Я очень спокойная. Только не надо
Со мною о нем говорить.
Ты милый и верный, мы будем друзьями...
Гулять, целоваться, стареть...
И легкие месяцы будут над нами,
Как снежные звезды, лететь.

1914

\+ \+ \+

Не в лесу мы, довольно аукать,—
Я насмешек таких не люблю...
Что же ты не приходишь баюкать
Уязвленную совесть мою?

У тебя заботы другие,
У тебя другая жена...
И глядит мне в глаза сухие
Петербургская весна.

Трудным кашлем, вечерним жаром
Наградит по заслугам, убьет.
На Неве под млеющим паром
Начинается ледоход.

1914

\+ \+ \+

Господь немилостив к жнецам и садоводам.
Звеня, косые падают дожди
И, прежде небо отражавшим, водам
Пестрят широкие плащи.

В подводном царстве и луга, и нивы,
А струи вольные поют, поют,
На взбухших ветках лопаются сливы,
И травы легшие гниют.

И сквозь густую водяную сетку
Я вижу милое твое лицо,
Притихший парк, китайскую беседку
И дома круглое крыльцо.

1915

\+ \+ \+

Все обещало мне его:
Край неба, тусклый и червонный,
И милый сон под Рождество,
И Пасхи ветер многозвонный,

И прутья красные лозы,
И парковые водопады,
И две большие стрекозы
На ржавом чугуне ограды.

И я не верить не могла,
Что будет дружен он со мною,
Когда по горным склонам шла
Горячей каменной тропою.

1916

\+ + +

Как невеста, получаю
Каждый вечер по письму,
Поздно ночью отвечаю
Другу моему.

«Я гощу у смерти белой
По дороге в тьму.
Зла, мой ласковый, не делай
В мире никому».

И стоит звезда большая
Между двух стволов,
Так спокойно обещая
Исполненье снов.

1915

\+ + +

Божий Ангел, зимним утром
Тайно обручивший нас,
С нашей жизни беспечальной
Глаз не сводит потемневших.

Оттого мы любим небо,
Тонкий воздух, свежий ветер
И чернеющие ветки
За оградою чугунной.

Оттого мы любим строгий,
Многоводный, темный город,
И разлуки наши любим,
И часы недолгих встреч.

1914

\+ \+ \+

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь,—

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

1915

\+ \+ \+

Подошла. Я волненья не выдал,
Равнодушно глядя в окно.
Села, словно фарфоровый идол,
В позе, выбранной ею давно.

Быть веселой — привычное дело,
Быть внимательной — это трудней...
Или томная лень одолела
После мартовских пряных ночей?

Утомительный гул разговоров,
Желтой люстры безжизненный зной
И мельканье искусных проборов
Над приподнятой легкой рукой.

Улыбнулся опять собеседник
И с надеждой глядит на нее...
Мой счастливый, богатый наследник,
Ты прочти завещанье мое.

1914

ПОБЕГ

О. А. Кузьминой-Караваевой

«Нам бы только до взморья добраться,
Дорогая моя!» — «Молчи...»
И по лестнице стали спускаться,
Задыхаясь, искали ключи.

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино,
Мимо белых колонн Сената,
Туда, где темно, темно.

«Что ты делаешь, ты безумный!» —
«Нет, я только тебя люблю!
Этот ветер — широкий и шумный,
Будет весело кораблю!»

Горло тесно ужасом сжато,
Нас в потемках принял челнок...
Крепкий запах морского каната
Задрожавшие ноздри обжег.

«Скажи, ты знаешь наверно:
Я не сплю? Так бывает во сне...»
Только весла плескались мерно
По тяжелой невской волне.

А черное небо светало,
Нас окликнул кто-то с моста,
Я руками обеими сжала
На груди цепочку креста.

Обессиленную, на руках ты,
Словно девочку, внес меня,
Чтоб на палубе белой яхты
Встретить свет нетленного дня.

1914

\+ + +

О тебе вспоминаю я редко
И твоей не пленяюсь судьбой,
Но с души не стирается метка
Незначительной встречи с тобой.

Красный дом твой нарочно миную,
Красный дом твой над мутной рекой,
Но я знаю, что горько волную
Твой пронизанный солнцем покой.

Пусть не ты над моими устами
Наклонялся, моля о любви,
Пусть не ты золотыми стихами
Обессмертил томленья мои —

Я над будущим тайно колдую,
Если вечер совсем голубой,
И предчувствую встречу вторую,
Неизбежную встречу с тобой.

1913

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины,

И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.

И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной...
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.

1916

\+ \+ \+

Вновь подарен мне дремотой
Наш последний звездный рай —
Город чистых водометов,
Золотой Бахчисарай.

Там, за пестрою оградой,
У задумчивой воды,
Вспоминали мы с отрадой
Царскосельские сады,

И орла Екатерины
Вдруг узнали — это тот!
Он слетел на дно долины
С пышных бронзовых ворот.

Чтобы песнь прощальной боли
Дольше в памяти жила,
Осень смуглая в подоле
Красных листьев принесла

И посыпала ступени,
Где прощалась я с тобой
И откуда в царство тени
Ты ушел, утешный мой.

Севастополь
1916

\+ + +

Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.

Как в ворота чугунные въедешь,
Тронет тело блаженная дрожь,
Не живешь, а ликуешь и бредишь
Иль совсем по-иному живешь.

Поздней осенью свежий и колкий
Бродит ветер, безлюдию рад.
В белом инее черные елки
На подтаявшем снеге стоят.

И, исполненный жгучего бреда,
Милый голос как песня звучит,
И на медном плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.

1915

\+ \+ \+

Бессмертник сух и розов. Облака
На свежем небе вылеплены грубо.
Единственного в этом парке дуба
Листва еще бесцветна и тонка.

Лучи зари до полночи горят.
Как хорошо в моем затворе тесном!
О самом нежном, о всегда чудесном
Со мною Божьи птицы говорят.

Я счастлива. Но мне всего милей
Лесная и пологая дорога,
Убогий мост, скрививншийся немного,
И то, что ждать осталось мало дней.

1916
Слепнево

III

МАЙСКИЙ СНЕГ

Пс. 6, ст.7

Прозрачная ложится пелена
На свежий дерн и незаметно тает.
Жестокая, студеная весна
Налившиеся почки убивает.

И ранней смерти так ужасен вид,
Что не могу на Божий мир глядеть я.
Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одарил тысячелетья.

1916

\+ + +

Зачем притворяешься ты
То ветром, то камнем, то птицей?
Зачем улыбаешься ты
Мне с неба кровавой зарницей?

Не мучь меня больше, не тронь!
Пусти меня к вещим заботам...
Шатается пьяный огонь
По высохшим серым болотам.

И Муза в дырявом платке
Протяжно поет и уныло.
В жестокой и юной тоске
Ее чудотворная сила.

Слепнево
1915

\+ + +

Пустых небес прозрачное стекло,
Большой тюрьмы белесое строенье
И хода крестного торжественное пенье
Над Волховом, синеющим светло.

Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв,
Кричит и мечется среди ветвей,
А город помнит о судьбе своей:
Здесь Марфа правила и правил Аркачеев.

Новгород
1914

ИЮЛЬ 1914

I

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.

Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».

II

Можжевельника запах сладкий
От горящих лесов летит.
Над ребятами стонут солдатки,
Вдовий плач по деревне звенит.

Не напрасно молебны служились,
О дожде тосковала земля:
Красной влагой тепло окропились
Затоптанные поля.

Низко, низко небо пустое,
И голос молящего тих:
«Ранят тело Твое пресвятое,
Мечут жребий о ризах Твоих».

20 июля 1914
Слепнево

\+ + +

Тот голос, с тишиной великой споря,
Победу одержал над тишиной.
Во мне еще, как песня или горе,
Последняя зима перед войной.

Белее сводов Смольного собора,
Таинственней, чем пышный Летний сад,
Она была. Не знали мы, что скоро
В тоске предельной поглядим назад.

1917

\+ \+ \+

Мы не умеем прощаться,—
Всё бродим плечо к плечу.
Уже начинает смеркаться,
Ты задумчив, а я молчу.

В церковь войдем, увидим
Отпеванье, крестины, брак,
Не взглянув друг на друга, выйдем...
Отчего всё у нас не так?

Или сядем на снег примятый
На кладбище, легко вздохнем,
И ты палкой чертишь палаты,
Где мы будем всегда вдоем.

1917

УТЕШЕНИЕ

Там Михаил Архистратиг
Его зачислил в рать свою.
Н. Гумилев

Вестей от него не получишь больше,
Не услышишь ты про него.
В объятой пожарами, скорбной Польше
Не найдешь могилы его.

Пусть дух твой станет тих и покоен,
Уже не будет потерь:
Он Божьего воинства новый воин,
О нем не грусти теперь.

И плакать грешно, и грешно томиться
В милом, родном дому.
Подумай, ты можешь теперь молиться
Заступнику своему.

1914

\+ \+ \+

Лучше б мне частушки задорно выкликать,
А тебе полтинник за день выручать,

И, уйдя, обнявшись, на ночь за овсы,
Потерять бы ленту из тугой косы.

Лучше б мне ребеночка твоего качать,
А тебе полтинник в сутки выручать,

И ходить на кладбище в поминальный день
Да смотреть на белую Божию сирень.

1914

МОЛИТВА

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

1915

6—583

\+ + +

«Где, высокая, твой цыганенок,
Тот, что плакал под черным платком,
Где твой маленький первый ребенок,
Что ты знаешь, что помнишь о нем?»

«Доля матери — светлая пытка,
Я достойна ее не была.
В белый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.

Каждый день мой — веселый, хороший,
Заблудилась я в длинной весне,
Только руки тоскуют по ноше,
Только плач его слышу во сне.

Станет сердце тревожным и томным,
И не помню тогда ничего,
Все брожу я по комнатам темным,
Все ищу колыбельку его».

1914

\+ + +

Столько раз я проклинала
Это небо, эту землю,
Этой мельницы замшелой
Тяжко машущие руки!
А во флигеле покойник,
Прям и сед, лежит на лавке,
Как тому назад три года.
Так же мыши книги точат,
Так же влево пламя клонит
Стеариновая свечка.
И поет, поет постылый
Бубенец нижегородский

Незатейливую песню
О моем веселье горьком.
А раскрашенные ярко
Прямо стали георгины
Вдоль серебряной дорожки,
Где улитки и полынь.

1915

\+ + +

Ни в лодке, ни в телеге
Нельзя попасть сюда.
Стоит на гиблом снеге
Глубокая вода;

Усадьбу осаждает
Уже со всех сторон...
Ах! близко изнывает
Такой же Робинзон.

Пойдет взглянуть на сани,
На лыжи, на коня,
А после на диване
Сидит и ждет меня

И шпорою короткой
Рвет коврик пополам.
Теперь улыбки кроткой
Не видеть зеркалам.

1916

\+ + +

Вижу, вижу лунный лук
Сквозь листву густых ракит,
Слышу, слышу ровный стук
Неподкованных копыт.

Что? И ты не хочешь спать,
В год не мог меня забыть,
Не привык свою кровать
Ты пустою находить?

Не с тобой ли говорю
В остром крике хищных птиц,
Не в твои ль глаза смотрю
С белых, матовых страниц?

Что же кружишь, словно вор,
У затихшего жилья?
Или помнишь уговор
И живую ждешь меня?

Засыпаю. В душный мрак
Месяц бросил лезвие.
Снова стук. То бьется так
Сердце теплое мое.

1914

\+ \+ \+

Бесшумно ходили по дому,
Не ждали уже ничего.
Меня привели к больному,
И я не узнала его.

Он сказал: «Теперь слава Богу»,—
И еще задумчивей стал.
«Давно мне пора в дорогу,
Я только тебя поджидал.

Так меня ты в бреду тревожишь,
Все слова твои берегу.
Скажи: ты простить не можешь?»
И я сказала: «Могу».

Казалось, стены сияли
От пола до потолка.
На шелковом одеяле
Сухая лежала рука.

А закинутый профиль хищный
Стал так страшно тяжел и груб,
И было дыханья не слышно
У искусанных темных губ.

Но вдруг последняя сила
В синих глазах ожила:
«Хорошо, что ты отпустила,
Не всегда ты доброй была».

И стало лицо моложе,
Я опять узнала его
И сказала: «Господи Боже,
Прими раба Твоего».

Слепнево
1914

\+ + +

Подошла я к сосновому лесу.
Жар велик, да и путь не короткий.
Отодвинул дверную завесу,
Вышел седенький, светлый и кроткий.

Поглядел на меня прозорливец
И промолвил: «Христова невеста!
Не завидуй удаче счастливиц,
Там тебе уготовано место.

Позабудь о родительском доме,
Уподобься небесному крину.
Будешь, хворая, спать на соломе
И блаженную примешь кончину».

Верно, слышал святитель из кельи,
Как я пела обратной дорогой
О моем несказанном весельи,
И дивяся, и радуясь много.

Дарница
1914

\+ + +

Так раненого журавля
Зовут другие: курлы, курлы!
Когда осенние поля
И рыхлы, и теплы...

И я, больная, слышу зов,
Шум крыльев золотых
Из плотных низких облаков
И зарослей густых:

«Пора лететь, пора лететь
Над полем и рекой,
Ведь ты уже не можешь петь
И слезы со щеки стереть
Ослабнувшей рукой».

1915

\+ + +

Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибегать —
Через речку и по горке,
Так что взрослым не догнать,
Издалека, мальчик зоркий,
Будешь крест мой узнавать.

Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать.

1915

\+ + +

Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша — сон
И марево — столица эта.

Ты говоришь — моя страна грешна,
А я скажу — твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина,—
Все искупить и все исправить можно.

Вокруг тебя — и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься.

1 января 1917

\+ + +

Приду туда, и отлетит томленье.
Мне ранние приятны холода.
Таинственные, темные селенья —
Хранилище молитвы и труда.

Спокойной и уверенной любови
Не превозмочь мне к этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне — как льдинка в пенистом вине.

И этого никак нельзя поправить,
Не растопил ее великий зной,
И что бы я ни начинала славить —
Ты, тихая, сияешь предо мной.

1916

ПАМЯТИ 19 ИЮЛЯ 1914

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.

Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня...
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

1916

IV

\+ \+ \+

Н. Г. Чулковой

Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер нежен и упруг,

И легкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поешь.

1915

СОН

Я знала, я снюсь тебе,
Оттого не могла заснуть.
Мутный фонарь голубел
И мне указывал путь.

Ты видел царицын сад.
Затейливый белый дворец
И черный узор оград
У каменных гулких крылец.

Ты шел, не зная пути,
И думал: «Скорей, скорей,
О, только б ее найти,
Не проснуться до встречи с ней».

А сторож у красных ворот
Окликнул тебя: «Куда!»
Хрустел и ломался лед,
Под ногами чернела вода.

«Это озеро,— думал ты,—
На озере есть островок...»
И вдруг из темноты
Поглядел голубой огонек.

В жестком свете скудного дня
Проснувшись, ты застонал
И в первый раз меня
По имени громко назвал.

1915

\+ + +

Выбрала сама я долю
Другу сердца моего:
Отпустила я на волю
В Благовещенье его.
Да вернулся голубь сизый,
Бьется крыльями в стекло.
Как от блеска дивной ризы,
Стало в горнице светло.

1915

\+ + +

То пятое время года,
Только его славословь.
Дыши последней свободой,
Оттого что это — любовь.

Высоко небо взлетело,
Легки очертанья вещей,
И уже не празднует тело
Годовщину грусти своей.

1913

БЕЛЫЙ ДОМ

Морозное солнце. С парада
Идут и идут войска.
Я полдню январскому рада,
И тревога моя легка.

Здесь помню каждую ветку
И каждый силуэт.
Сквозь инея белую сетку
Малиновый каплет свет.

Здесь дом был почти что белый,
Стеклянное крыльцо.
Столько раз рукой помертвелой
Я держала звонок-кольцо.

Столько раз... Играйте, солдаты,
А я мой дом отыщу,
Узнаю по крыше покатой,
По вечному плющу.

Но кто его отодвинул,
В чужие унес города
Или из памяти вынул
Навсегда дорогу туда...

Волынки вдали замирают,
Снег летит, как вишневый цвет...
И, видно, никто не знает,
Что белого дома нет.

1914

\+ + +

Долго шел через поля и села,
Шел и спрашивал людей:
«Где она, где свет веселый
Серых звезд — ее очей?

Ведь настали, тускло пламенея,
Дни последние весны.
Все мне чаще снится, все нежнее
Мне о ней бывают сны!»

И пришел в наш град угрюмый
В предвечерний тихий час,
О Венеции подумал
И о Лондоне зараз.

Стал у церкви темной и высокой
На гранит блестящих ступеней
И молил о наступленье срока
Встречи с первой радостью своей.

А над смуглым золотом престола
Разгорался Божий сад лучей:
«Здесь она, здесь свет веселый
Серых звезд — ее очей».

1915

\+ + +

Широк и желт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на много лет,
Но все-таки тебе я рада.

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь —
С моими детскими стихами.

Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.

1915

\+ + +

Я не знаю, ты жив или умер,—
На земле тебя можно искать
Или только в вечерней думе
По усопшем светло горевать.

Все тебе: и молитва дневная,
И бессонницы млеющий жар,
И стихов моих белая стая,
И очей моих синий пожар.

Мне никто сокровенней не был,
Так меня никто не томил,
Даже тот, кто на муку предал,
Даже тот, кто ласкал и забыл.

1915

\+ + +

Нет, царевич, я не та,
Кем меня ты видеть хочешь,
И давно мои уста
Не целуют, а пророчат.

Не подумай, что в бреду
И замучена тоскою
Громко кличу я беду:
Ремесло мое такое.

А умею научить,
Чтоб нежданное случилось,
Как навеки приручить
Ту, что мельком полюбилась.

Славы хочешь? — у меня
Попроси тогда совета,
Только это — западня,
Где ни радости, ни света.

Ну, теперь иди домой
Да забудь про нашу встречу,
А за грех твой, милый мой,
Я пред Господом отвечу.

1915

\+ + +

Из памяти твоей я выну этот день,
Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный:
Где видел я персидскую сирень,
И ласточек, и домик деревянный?

О, как ты часто будешь вспоминать
Внезапную тоску неназванных желаний
И в городах задумчивых искать
Ту улицу, которой нет на плане!

При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».

1915

\+ + +

Не хулил меня, не славил,
Как друзья и как враги.
Только душу мне оставил
И сказал: побереги.

И одно меня тревожит:
Если он теперь умрет,
Ведь ко мне Архангел Божий
За душой его придет.

Как тогда ее я спрячу,
Как от Бога утаю?
Та, что так поет и плачет,
Быть должна в Его раю.

1915

\+ + +

Там тень моя осталась и тоскует,
В той светло-синей комнате живет,
Гостей из города за полночь ждет
И образок эмалевый целует.
И в доме не совсем благополучно:
Огонь зажгут, а все-таки темно...
Не оттого ль хозяйке новой скучно,
Не оттого ль хозяин пьет вино
И слышит, как за тонкою стеною
Пришедший гость беседует со мною?

1917

\+ + +

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.

1917

\+ + +

Небо мелкий дождик сеет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов день.

Нынче другу возвратиться
Из-за моря — крайний срок.
Все мне дальний берег снится,
Камни, башни и песок.

Вот на крайнюю из башен
Я взойду, встречая свет...
Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.

Только сяду на пороге,
Там еще густая тень.
Помоги моей тревоге,
Белый, белый Духов день!

1916

\+ \+ \+

Я знаю, ты моя награда
За годы боли и труда,
За то, что я земным отрадам
Не предавалась никогда,
За то, что я не говорила
Возлюбленному: «Ты любим».
За то, что всем я все простила,
Ты будешь ангелом моим.

1916

\+ \+ \+

Да, я любила их, те сборища ночные,—
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

1917

МИЛОМУ

Голубя ко мне не присылай,
Писем беспокойных не пиши,
Ветром мартовским в лицо не вей.

Я вошла вчера в зеленый рай,
Где покой для тела и души
Под шатром тенистых тополей.

И отсюда вижу городок,
Будки и казармы у дворца,
Надо льдом китайский желтый мост.
Третий час меня ты ждешь — продрог,
А уйти не можешь от крыльца
И дивишься, сколько новых звезд.

Серой белкой прыгну на ольху,
Ласочкой пугливой пробегу,
Лебедью тебя я стану звать,
Чтоб не страшно было жениху
В голубом кружащемся снегу
Мертвую невесту поджидать.

Царское Село
1915

\+ \+ \+

Юнии Анреп

Судьба ли так моя переменилась,
Иль вправду кончена игра?
Где зимы те, когда я спать ложилась
В шестом часу утра?

По-новому, спокойно и сурово,
Живу на диком берегу.
Ни праздного, ни ласкового слова
Уже промолвить не могу.

Не верится, что скоро будут святки.
Степь трогательно зелена.
Сияет солнце. Лижет берег гладкий
Как будто теплая волна.

Когда от счастья томной и усталой
Бывала я, то о такой тиши
С невыразимым трепетом мечтала
И вот таким себе я представляла
Посмертное блуждание души.

Севастополь
Декабрь 1916

\+ + +

Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:
Оно — веселье и оно — страданье.

Мне кажется, что тот, кто близко взглянет
В мои глаза, его увидит сразу.
Печальней и задумчивее станет
Внимающего скорбному рассказу.

Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья,
Чтоб вечно жили дивные печали.
Ты превращен в мое воспоминанье.

Слепнево
1916

\+ + +

Первый луч — благословенье Бога —
По лицу любимому скользнул,
И дремавший побледнел немного,
Но еще покойнее уснул.

Верно, поцелуем показалась
Теплота небесного луча...
Так давно губами я касалась
Милых губ и смуглого плеча...

А теперь, усопших бестелесней,
В неутешном странствии моем,
Я к нему влетаю только песней
И ласкаюсь утренним лучом.

1916

\+ + +

Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой,
Смотрю взволнованно на темные палаты?
Уже привыкшая к высоким, чистым звонам,
Уже судимая не по земным законам,
Я, как преступница, еще влекусь туда,
На место казни долгой и стыда.
И вижу дивный град, и слышу голос милый,
Как будто нет еще таинственной могилы,
Где у креста, склонясь, в жары и холода,
Должна я ожидать Последнего Суда.

1917. Январь

V

У САМОГО МОРЯ

I

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это — счастье.
В песок зарывала пестрое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга,
И уплывала далеко в море,
На темных, теплых волнах лежала.
Когда возвращалась, маяк с востока
Уже сиял переменным светом,
И мне монах у ворот Херсонеса
Говорил: «Что ты бродишь ночью?»

Знали соседи — я чую воду,
И, если рыли новый колодец,
Звали меня, чтоб нашла я место
И люди напрасно не трудились.
Я собирала французские пули,
Как собирают грибы и чернику,
И приносила домой в подоле
Осколки ржавые бомб тяжелых.

И говорила сестре сердито:
«Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок,
Чтобы бухты мои охраняли
До самого Фиолента».
А вечером перед кроватью
Молилась темной иконке,
Чтоб град не побил черешен,
Чтоб крупная рыба ловилась
И чтобы хитрый бродяга
Не заметил желтого платья.

Я с рыбаками дружбу водила.
Под опрокинутой лодкой часто
Во время ливня с ними сидела,
Про море слушала, запоминала,
Каждому слову тайно веря.
И очень ко мне рыбаки привыкли.
Если меня на пристани нету,
Старший за мною слал девчонку,
И та кричала: «Наши вернулись!
Нынче мы камбалу жарить будем».

Сероглаз был высокий мальчик,
На полгода меня моложе.
Он принес мне белые розы,
Мускатные белые розы,
И спросил меня кротко: «Можно
С тобой посидеть на камнях?»
Я смеялась: «На что мне розы?
Только колются больно!» — «Что же, —
Он ответил, — тогда мне делать,
Если так я в тебя влюбился».
И мне стало обидно: «Глупый! —
Я спросила. — Что ты — царевич?»
Это был сероглазый мальчик,
На полгода меня моложе.
«Я хочу на тебе жениться, —
Он сказал, — скоро стану взрослым

И поеду с тобой на север...»
Заплакал высокий мальчик,
Оттого что я не хотела
Ни роз, ни ехать на север.

Плохо я его утешала:
«Подумай, я буду царицей,
На что мне такого мужа?»
«Ну, тогда я стану монахом,—
Он сказал,—у вас в Херсонесе».
«Нет, не надо лучше: монахи
Только делают, что умирают.
Как придешь—одного хоронят,
А другие, знаешь, не плачут».
Ушел не простившись мальчик,
Унес мускатные розы,
И я его отпустила,
Не сказала: «Побудь со мною».
А тайная боль разлуки
Застонала белою чайкой
Над серой полынной степью,
Над пустынной, мертвой Корсунью.

II

Бухты изрезали низкий берег,
Дымное солнце упало в море.
Вышла цыганка из пещеры,
Пальцем меня к себе поманила:
«Что ты, красавица, ходишь боса?
Скоро веселой, богатой станешь.
Знатного гостя жди до Пасхи,
Знатному гостю кланяться будешь;
Ни красотой твоей, ни любовью,—
Песней одною гостя приманишь».
Я отдала цыганке цепочку
И золотой крестильный крестик.
Думала радостно: «Вот он, милый,
Первую весть о себе мне подал».

Но от тревоги я разлюбила
Все мои бухты и пещеры;
Я в камыше гадюк не пугала,
Крабов на ужин не приносила,
А уходила по южной балке
За виноградники в каменоломню,—
Туда не короткой была дорога.
И часто случалось, что хозяйка
Хутора нового мне кивала,
Кликала издали: «Что не заходишь?
Все говорят—ты приносишь счастье».
Я отвечала: «Приносят счастье
Только подковы да новый месяц,
Если он справа в глаза посмотрит».
В комнаты я входить не любила.

Дули с востока сухие ветры,
Падали с неба крупные звезды,
В нижней церкви служили молебны
О моряках, уходящих в море,
И заплывали в бухту медузы,
Словно звезды, упавшие за ночь,
Глубоко под водой голубели.
Как журавли курлыкают в небе,
Как беспокойно трещат цикады,
Как о печали поет солдатка,
Все я запомнила чутким слухом,
Да только песни такой не знала,
Чтобы царевич со мной остался.
Девушка стала мне часто сниться
В узких браслетах, в коротком платье,
С дудочкой белой в руках прохладных,
Сядет, спокойная, долго смотрит,
И о печали моей не спросит,
И о печали своей не скажет,
Только плечо мое нежно гладит.
Как же царевич меня узнает,
Разве он помнит мои приметы?
Кто ему дом наш старый укажет?
Дом наш совсем вдали от дороги.

Осень сменилась зимой дождливой,
В комнате белой от окон дуло,
И плющ мотался по стенке сада.
Приходили на двор чужие собаки,
Под окошком моим до рассвета выли.
Трудное время для сердца было.
Так я шептала, на двери глядя:
«Боже, мы мудро царствовать будем,
Строить над морем большие церкви
И маяки высокие строить.
Будем беречь мы воду и землю,
Мы никого обижать не станем».

III

Вдруг подобрело темное море,
Ласточки в гнезда свои вернулись,
И сделалась красной земля от маков,
И весело стало опять на взморье.
За ночь одну наступило лето,—
Так мы весны и не видали.
И я совсем перестала бояться,
Что новая доля минет.
А вечером в Вербную субботу,
Из церкви придя, я сестре сказала:
«Нá тебе свечку мою и четки,
Библию нашу дома оставлю.
Через неделю настанет Пасха,
И мне давно пора собираться,—
Верно, царевич уже в дороге,
Морем за мной он сюда приедет».
Молча сестра на слова дивилась,
Только вздохнула, помнила, верно,
Речи цыганкины у пещеры.
«Он привезет тебе ожерелье
И с голубыми камнями кольца?»
«Нет,— я сказала,— мы не знаем,
Какой он подарок мне готовит».

Были мы с сестрой однолетки
И так друг на друга похожи,
Что маленьких нас различала
Только по родинкам наша мама.
С детства сестра ходить не умела,
Как восковая кукла лежала;
Ни на кого она не сердилась
И вышивала плащаницу,
Бредила даже во сне работой;
Слышала я, как она шептала:
«Плащ Богородицы будет синим...
Боже, апостолу Иоанну
Жемчужин для слез достать мне негде...»

Дворик зарос лебедой и мятой,
Ослик щипал траву у калитки,
И на соломенном длинном кресле
Лена лежала, раскинув руки,
Все о работе своей скучала,—
В праздник такой грешно трудиться.
И приносил к нам соленый ветер
Из Херсонеса звон пасхальный.
Каждый удар отдавался в сердце,
С кровью по жилам растекался.
«Леночка,—я сестре сказала,—
Я ухожу сейчас на берег.
Если царевич за мной приедет,
Ты объясни ему дорогу.
Пусть он меня в степи нагонит:
Хочется на море мне сегодня».
«Где же ты песенку услыхала,
Ту, что царевича приманит?—
Глаза приоткрыв, сестра спросила.—
В городе ты совсем не бываешь,
А здесь поют не такие песни».
К самому уху ее склонившись,
Я прошептала: «Знаешь, Лена,
Ведь я сама придумала песню,
Лучше которой нет на свете».

И не поверила мне и долго,
Долго с упреком она молчала.

IV

Солнце лежало на дне колодца,
Грелись на камнях сколопендры,
И убегало перекати-поле,
Словно паяц горбатый кривляясь,
А высоко взлетевшее небо,
Как Богородицын плащ, синело,—
Прежде оно таким не бывало.
Легкие яхты с полдня гонялись,
Белых бездельниц столпилось много
У Константиновской батареи,—
Видно, им ветер нынче удобный.
Тихо пошла я вдоль бухты к мысу,
К черным, разломанным, острым скалам,
Пеной покрытым в часы прибоя,
И повторяла новую песню.
Знала я: с кем бы царевич ни был,
Слышит он голос мой, смутившись,—
И оттого мне каждое слово,
Как Божий подарок, было мило.
Первая яхта не шла—летела,
И догоняла ее вторая,
А остальные едва виднелись.

Как я легла у воды—не помню,
Как задремала тогда—не знаю,
Только очнулась и вижу: парус
Близко полощется. Передо мною,
По пояс стоя в воде прозрачной,
Шарит руками старик огромный
В щелях глубоких скал прибрежных,
Голосом хриплым зовет на помощь.
Громко я стала читать молитву,
Как меня маленькую учили,
Чтобы мне страшное не приснилось,

Чтоб в нашем доме бед не бывало.
Только я молвила: «Ты Хранитель!» —
Вижу — в руках старика белеет
Что-то, и сердце мое застыло...
Вынес моряк того, кто правил
Самой веселой, крылатой яхтой,
И положил на черные камни.

Долго я верить себе не смела,
Пальцы кусала, чтобы очнуться:
Смуглый и ласковый мой царевич
Тихо лежал и глядел на небо.
Эти глаза, зеленее моря
И кипарисов наших темнее,—
Видела я, как они погасли...
Лучше бы мне родиться слепою.
Он застонал и невнятно крикнул:
«Ласточка, ласточка, как мне больно!»
Верно, я птицей ему показалась.

В сумерки я домой вернулась.
В комнате темной было тихо,
И над лампадкой стоял высокий,
Узкий малиновый огонечек.
«Не приходил за тобой царевич,—
Лена сказала, шаги услышав,—
Я прождала его до вечерни
И посылала детей на пристань».
«Он никогда не придет за мною.
Он никогда не вернется, Лена.
Умер сегодня мой царевич».
Долго и часто сестра крестилась;
Вся повернувшись к стене, молчала.
Я догадалась, что Лена плачет.

Слышала я — над царевичем пели:
«Христос воскресе из мертвых»,—
И несказанным светом сияла
Круглая церковь.

1914

ВОКРУГ «БЕЛОЙ СТАИ»

Георгий Адамович. У самого моря

Если наших поэтов еще не разлюбили, то им уже, конечно, перестали верить. Слишком очевидно, что «испытания огнем» они не выдержали и что тон нововременских статей в поэзии не есть слияние с народом, но слабовольная и небескорыстная уступка его мнимым требованиям. Русская поэзия не погибнет, конечно, в наводнении злободневных стихов, лживых и глуповатых, но сейчас она в нем тонет.

Тем сильнее радость, которую принес последний номер «Аполлона». В журнале этом, несколько месяцев назад выпустившем целый фейерверк военных вдохновений, теперь помещена новая поэма Анны Ахматовой — «У самого моря».

Может быть, нет в России сейчас поэта, имя которого было бы окружено такой нежностью и сочувствием, как имя Ахматовой. Это — успех не случайный. У Ахматовой есть все данные стать «любимицей публики», и только глубокое и верное чутье спасает ее. Поэзии чисто эмоциональной всегда обеспечен широкий успех, а на этом пути Ахматова сейчас стоит впереди всех. М. Кузмин сравнил ее с александрийскими эстетами, которые представляли себе каждый день и каждый час предсмертным.

Это было еще в предисловии к «Вечеру», но, как подлинно обреченная, Ахматова и любит, и тоскует все безнадежнее и острее. Кто же поверит тому, что «я — очень спокойная»?

В этом отношении Ахматова действительно — современный лирик.

Есть сейчас целый ряд поэтов, которые, желая «уловить лик современности», первым условием достижения этой почтенной цели считают воспевание трамваев и (это уже — закон) аэропланов. Эти молодые люди напрасно думают, что их вдохновения оценят те, к кому они взывают: авиато-

ры, инженеры, телефонные барышни, вагоновожатые. Авиаторам если и понравятся стихи, то уж, конечно, об увядших розах и разбитых грезах. А тем, кто, не отставая от инженеров и техников, идут в другом плане жизни, кто и видит, и знает, и помнит вещи более удивительные, чем аэропланы,— разве им надо вечно напоминать о «грохоте проспектов» и пулеметах?

Поэт блоко-лермонтовского стиля, Ахматова ничего не «описывает». Вспомнит иногда, какое было море, как улыбнулся мальчик, но все мимоходом, коротко и растерянно. Теперь уже ясно, что она совсем — не «вещелюб», ей и вещи, и вся земля дороги только как обстановка, как память. И неудивительно, что ее — и еще одного, Блока — совершенно не тронул эстетический экзотизм, создание поэтов «зрительного» типа, близких романскому духу. Нельзя представить себе Ахматову занимающейся писанием триолетов или газелл, и разве это все — не то же самое? Ахматова — мастер, покуда мастерство ее ей покорно, но служить ему она не хочет. Не будем себя обманывать. Ни Блок, ни Ахматова в словесности — не «путь» и не школа. Их нельзя «продолжать», не обворовывая и не подражая им. Последователь Брюсова, например, свободен, но нельзя быть «учеником Блока» и не говорить о вьюгах или нищей России. Воры-поклонники уже наполовину заслонили прекрасный облик поэта,— может быть, то же ждет и Ахматову?

«У самого моря» — торжество ее таланта. Сохранив прежний стиль, прежние слова, она доводит свой трепещущий лиризм до крайнего напряжения. Нельзя противиться очарованию этих строк:

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море...

Простая история о невернувшемся «царевиче» рассказана Ахматовой с такой тревогой, с такой любовью и мудростью, какие возможны только у поэтов, нашедших «свое». Ее не смутили рассуждения о том, что теперь «пора уже вернуться к фабуле»,— она знает цену завязкам и развязкам и не ее упрекать в недостатке примитивной изобретательности.

С тактом настоящего поэта она нашла тему простую и трагическую и всем «истинным» темам на земле родственную.

Самый стих Ахматовой, ранее страдавший несколько обманчивой певучестью, окреп и приобрел гибкую силу. Поэт будто захлебывается своим голосом,— и только «Мцыри» можно по верности мелодической линии и «дыханию» сравнить с новой поэмой. Знатоки стихосложения найдут вообще много интересного в ее ритмике, чрезвычайно органической и неразложимой, едва ли сознанной самим поэтом. Менее, вероятно, будут они увлечены не всегда убедительными образами поэмы.

Читая «У самого моря», приходишь к слегка смущающему заключению: поэма, конечно, всем понравится. Это — странное и как будто опасное свойство таланта Ахматовой. Но нельзя ошибаться,— быстрое признание не всегда есть диплом на посредственность. Ведь существуют плоскости творчества, где нет и не может быть споров. Через сто лет «У самого моря» прочтут с тем же волнением, что и теперь. И разве какие-нибудь догадки и соображения могут заставить нас сомневаться в том, что Ахматова — большой и прекрасный поэт.

Поэт Георгий Викторович Адамович (1892—1972), ставший членом Цеха поэтов в 1914 году, впоследствии был в эмиграции влиятельным русским критиком. Об Ахматовой он писал неоднократно. В 1965 году они встретились в Париже. Данная рецензия опубликована была в журнале «Голос жизни» (1915, № 19).

Борис Анреп. О черном кольце

Борис Анреп — один из главных адресатов ахматовской любовной лирики. Противопоставляя Анрепа и Гумилева, В. С. Срезневская писала в своих мемуарах: «И почему одна и, казалось бы, мимолетная тень породила почти целый сборник стихов... А другая тень, казалось бы, более страшная, близкая и кровавая,— мелькнет то там, то тут, но не ранив сердца... Отчего? "Есть вещи, друг Горацио..."». Наверное, не дают ответа на этот вопрос и воспоминания самого Анрепа, но полноценное восприятие «Белой стаи» и «Подорожника»

без знакомства с этими воспоминаниями невозможно. Хотя мемуарный этюд Анрепа очевидно неполон — в нем, скажем, нет ни слова о том эпизоде, который был так памятен Ахматовой и отмечался в ее автобиографических набросках: посещение ими генеральной репетиции «Маскарада», поставленного Мейерхольдом, совпавшей с началом Февральской революции,— он дает нам ощутить обстоятельства, отразившиеся в ахматовских стихах. Так, свидетельство Анрепа о молчаливости их прогулок сразу приводит на память стихотворения «Мы не умеем прощаться...» и «По твердому гребню сугроба...» (последнее снабжено посвящением «Б. А.» в одном из рукописных источников).

Борис Васильевич Анреп родился в 1883 году в Петербурге. Сын профессора судебной медицины, впоследствии деятеля Министерства народного просвещения и депутата Государственной думы от партии октябристов. Учился два года в харьковской гимназии, где подружился с Николаем Владимировичем Недоброво (1882 — 1919), значение которого в жизни Ахматовой огромно. В 1905 году Анреп закончил Императорское училище Правоведения. Дальнейшая его биография изложена им в справке для памятной книжки училища:

«По окончании Училища поступил на 4 курс Петербургского университета и после сдачи необходимых экзаменов был оставлен при кафедре профессора Петражицкого для подготовки к дальнейшей академической карьере.

Одновременно учился живописи у художника-иконоведа Д. С. Стеллецкого. Увлекшись этими занятиями, бросил университет и в 1908 году отправился в Париж, дабы всецело посвятить себя живописи.

Со временем особенно заинтересовался византийским искусством, в частности, мозаикой, которую основательно изучал, путешествуя по странам, где сохранились лучшие древние ее образцы.

В 1913 году устроил первую выставку своих работ в Лондоне, имевшую большой успех.

Как офицер запаса вернулся во время войны в Россию; в 1916 году был командирован в Англию в Русский правительственный комитет, где работал до конца войны. С тех пор исключительно занимался художественными работами, главным образом, в Англии, где они имеются в Национальной галерее, Вестминстерском Соборе, Греческом Соборе и др.» (Императорское училище Правоведения и правоведы в годы мира, войны и смуты. Мадрид, 1967, с. 372).

С ранней юности Анреп писал стихи, и когда Недоброво весной 1913 года организовал в Петербурге направленное против Цеха поэтов и против акмеистической программы Общество Поэтов, сочинения Анрепа читались в его отсутствие на заседаниях Общества, на которых бывала и Ахматова.

29 октября 1913 года Недоброво пишет Анрепу: «Источником существенных развлечений служит для меня Анна Ахматова, очень способная поэтесса...», а в следующем письме, 16 ноября: «Я окружаю себя людьми, в обществе которых трачу время до такой степени щедро, что его вовсе на себя не остается...» (и далее в числе этих людей названа Ахматова). По-видимому, в марте 1914 года Анрепу были посланы только что вышедшие «Четки». Он ответил письмом к Недоброво, из которого Ахматова на склоне дней по памяти приводила слова: «Она была бы Сафо, если бы не ее православная изнеможденность». 27 апреля 1914 года Недоброво отвечал: «Твое последнее письмо меня очень обрадовало — то, что Ты так признал Ахматову и принял ее в наше лоно, мне очень дорого; по личным прежде всего соображениям, а также и потому, что, значит, мы можем считать, что каждому делегирована власть раздавать венцы от имени обоих. Я всегда говорил ей, что у нее чрезвычайно много общего, в самой сути ее творческих приемов, с Тобою и со мной, и мы нередко забавляемся тем, что обсуждаем мои старые, лет 10 тому назад писанные стихи, с той точки зрения, что, под Ахматову или нет, они сочинены. Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок и генсборовский портрет маслом и икону темперой, а, пуще всего, поместить ее в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии. Осенью, приехав сюда, я думаю, ты не откажешься ни от одной из этих задач».

12 мая 1914 года Недоброво опять пишет Анрепу: «Твое предыдущее письмо я, кроме французского словца, вслух прочел Ахматовой. Мы очень смеялись этому странному сочетанию большой проницательности, а тут же — безмерной какой-то недогадливости. Во всяком случае она просит передать Тебе, что только восторгами добрых знакомых она переобременена сверх меры и никак не может разобраться, к чему собственно они относятся. Через неделю нам предстоит трехмесячная, по меньшей мере, разлука. Очень мне это грустно».

Два месяца спустя Ахматова пишет обращенное к Недоброво стихотворение «Целый год ты со мной неразлучен...» (и впоследствии из-за прямо введенной в текст хронологии какое-то время маскирует дату написания), а еще через некоторое время впервые видит недавнего «незнакомца». «С Анрепом я познакомилась в Великом Посту в 1915 в Царском Селе у Недоброво (Бульварная)»,— пишет она в цитированной выше заметке.

Кроме названных в воспоминаниях Анрепа, посвящениями ему в различных рукописных источниках снабжены и многие другие стихотворения: «Все обещало мне его...», «Я знаю — ты моя награда...», «Как белый камень в глубине колодца...», «Когда в тоске самоубийства...», «Зачем притворяешься ты...», «Майский снег», «Бессмертник

7—583

сух и розов. Облака...», «Сон», «Нет, церевич, я не та...», «Широк и желт вечерний свет...», «Долго шел через поля и села...», и наконец, акростих «Бывало, я с утра молчу...»

На свой счет Анреп отнес и стихотворение Ахматовой 1960 года «Всем обещаньям вопреки». В нем лирическая тема явственно окрашивается в оттенки, присущие поэзии, обозначаемой при рубрикации как «patriotica», что особенно видно из рукописного варианта (оставшиеся в рукописи строки даются нами курсивом):

Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне...
Ничем не мог ты мне помочь.
Зачем же снова в эту ночь
Свой дух прислал ко мне?
Он строен был, и юн, и рыж,
Он женщиною был,
Шептал про Рим, манил в Париж,
Как плакальщица выл...
Он больше без меня не мог:
Пускай позор, пускай острог...
Я без него могла —
Смотреть, как пьет из лужи дрозд,
И как гостей через погост
Зовут колокола.

Анреп писал литературоведу Глебу Струве в 1967 году об этом стихотворении: «Одно из самых мучительно-трогательных стихотворений А. А. Почти каждое слово основано на пережитом, одето пронзительной фантазией, незабвенным чувством».

Воспоминания об Ахматовой Анреп написал по просьбе Г. Струве и просил их при жизни автора не печатать. Он скончался в Лондоне 7 июня 1969 года. Рассказ «О черном кольце» был впервые опубликован в третьем томе собрания сочинений Ахматовой, вышедшем в Париже в 1983 году.

Бабушка завещала Анне Андреевне «перстень черный». «*Так сказала: "Он по ней, / С ним ей будет веселей"*». В Англии такие кольца в свое время назывались «траурными». Кольцо было золотое, ровной ширины, снаружи было покрыто черной эмалью, но ободки оставались золотыми. В центре чер-

ной эмали был маленький брильянт. А. А. всегда носила это кольцо и приписывала ему таинственную силу.

Н. В. Недоброво познакомил меня с А. А. в 1914 году по моем приезде из Парижа, перед моим отъездом на фронт. Н. В. восхищенно писал мне про нее еще раньше, и при встрече с ней я был очарован: волнующая личность, тонкие, острые замечания, а главное — прекрасные, мучительно-трогательные стихи. Недоброво ставил ее выше всех остальных поэтов того времени.

В 1915 году я виделся с А. А. во время моих отпусков или командировок с фронта. Я дал ей рукопись своей поэмы «Физа» на сохранение; она ее зашила в шелковый мешочек и сказала, что будет беречь как святыню:

Не хулил меня, не славил,
Как друзья и как враги,
Только душу мне оставил
И сказал: побереги.

И одно меня тревожит:
Если он теперь умрет,
Ведь ко мне Архангел Божий
За душой его придет.

Как тогда ее я спрячу,
Как от Бога утаю?
Та, что так поет и плачет,
Быть должна в Его раю.

1915

Мы катались на санях; обедали в ресторанах; и все время я просил ее читать мне ее стихи; она улыбалась и напевала их тихим голосом. Часто мы молчали и слушали всякие звуки вокруг нас. Во время одного из наших свиданий в 1915 году я говорил о своем неверии и о тщете религиозной мечты. А. А. строго меня отчитывала, указывала на путь веры, как на залог счастья. «Без веры нельзя».

Позднее она написала стихотворение (кстати, А. А. терпеть не могла слово «стихотворение»), имеющее отношение к нашему разговору:

Из памяти твой я выну этот день,
Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный:
Где видел я персидскую сирень
И ласточек, и домик деревянный?

О как ты часто будешь вспоминать
Внезапную тоску неназванных желаний
И в городах задумчивых искать
Ту улицу, которой нет на плане!

При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».

4 апреля 1915

Так это и было. Но от нее я не получил ни одного письма, и я не написал ни одного, и она не «пришла на помощь моему неверью», и я не звал.

В начале 1916 года я был командирован в Англию и приехал с фронта на более продолжительное время в Петроград для приготовления моего отъезда в Лондон. Недоброво с женой жили тогда в Царском Селе, там же жила А. А. Николай Владимирович просил меня приехать к ним 13 февраля слушать только что законченную им трагедию «Юдифь». «Анна Андреевна тоже будет», добавил он. Вернуться с фронта и попасть в изысканную атмосферу царскосельского дома Недоброво, слушать «Юдифь», над которой он долго работал, увидеться опять с А. А. было очень привлекательно. Н. В. приветствовал меня, как всегда, радушно. Я обнял его и облобызал и тут же почувствовал, что это ему неприятно: он не любил излияний чувств, его точеная, изящная фигура съежилась—я смутился, Любовь Александровна (его жена) спасла положение, поцеловала меня в щеку и сказала, что пойдет приготовлять чай, пока мы будем слушать «Юдифь». А. А. сидела на диванчике, облокотившись, и наблюдала с улыбкой нашу встречу. Я подошел к ней, и тайное волнение объяло меня, непонятное болезненное ощущение. Я их испытывал всегда при встрече

с ней, даже при мысли о ней, и даже теперь, после ее смерти, я переживаю мучительно эти воспоминания. Я сел рядом с ней.

Н. В. открывал рукопись «Юдифи», сидя за красивым письменным столом чистого итальянского ренессанса, с кручеными фигурными ножками: злые языки говорили, что Н. В. женился на Л. А. из-за ее мебели. Правда, Н. В. страстно любил все изящное, красивое, стильное, технически совершенное. Он стал читать: Н. В. никогда не пел своих стихов, как большинство современных поэтов; он читал их, выявляя ритм, эффектно модулируя, ускоряя и замедляя меру стихов, подчеркивая тем самым смысл и его драматическое значение. Трагедия развивалась медленно. Несмотря на безукоризненное стихосложение и его прекрасное чтение, я слушал, но не слышал. Иногда я взглядывал на профиль А. А., она смотрела куда-то вдаль. Я старался сосредоточиться. Стихотворные мерные звуки наполняли мои уши как стуки колес поезда. Я закрыл глаза. Откинул руку на сидение дивана. Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо. «Возьмите,— прошептала А. А.— Вам». Я хотел что-то сказать. Сердце билось. Я взглянул вопросительно на ее лицо. Она молча смотрела вдаль. Я зажал руку в кулак. Недоброво продолжал читать. Наконец кончил. Что сказать? «Великолепно». А. А. молчала, наконец промолвила с расстановкой: «Да, очень хорошо». Н. В. хотел знать больше. «Первое впечатление замечательной силы». Надо вчитаться, блестящее стихосложение, я хвалил в страхе обнаружить, что половины я не слыхал. Подали чай. А. А. говорила с Л. А. Я торопился уйти. А. А. осталась.

Через несколько дней я должен был уезжать в Англию.

За день до моего отъезда получил от А. А. ее книгу стихов «Вечер» с надписью:

Борису Анрепу—
  Одной надеждой меньше стало
  Одною песней больше будет

Анна Ахматова

1916. Царское Село
13 февраля

Тринадцатого февраля!!

Несколько времени перед этим я подарил А. А. деревянный престольный крест, который я подобрал в полуразрушенной заброшенной церкви в Карпатских горах Галиции. Вместе с крестом я написал ей четверостишие:

Я позабыл слова и не сказал заклятья,
По деве немощной я, глупый, руки стлал,
Чтоб уберечь ее от чар и мук распятья,
Которое ей сам, в знак дружбы, дал.

Это четверостишие появилось в третьем томе *Воздушных Путей* (Нью-Йорк, 1963) среди разных стихов, посвященных А. А. Мое четверостишие появилось в измененном виде:

Я позабыл слова, я не сказал заклятья,
По немощной я только руки стлал,
Чтоб уберечь ее от мук и чар распятья,
Которые я ей в знак нашей встречи дал.

1916

Для меня нет сомнения, что эти изменения сделаны были самой А. А. Причины этих изменений мне не совсем ясны. Хотела ли А. А. улучшить литературное качество четверостишия? Так ли? Только ли? Самые значительные изменения: «которое» на «которые» и «дружбы» на «встречи» — вносят личную, интимную, мучительную ноту. Наша «встреча» нашла отзвук в нескольких стихах А. А.:

Словно ангел, возмутивший воду,
Ты взглянул тогда в мое лицо,
Возвратил и силу, и свободу,
И на память чуда взял кольцо.
Мой румянец жаркий и недужный
Стерла богомольная печаль.

Памятным мне будет месяц вьюжный,
Северный встревоженный февраль.

Февраль 1916
Царское село

Я уехал в Лондон, откуда должен был вернуться недель через шесть. Но судьба сложилась иначе.

Небо мелкий дождик сеет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов День.

Нынче другу возвратиться
Из-за моря — крайний срок.
Все мне дальный берег снится,
Камни, башни и песок.

На одну из этих башен
Я взойду, встречая свет...
Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.

Только сяду на пороге,
Там еще густая тень.
Помоги моей тревоге,
Белый, белый Духов День!

1916, весна
Слепнево

Я никогда не писал. Она тоже отвечала полным молчанием.

И без песен печаль улеглась.
Наступило прохладное лето,
Эта встреча никем не воспета,
Словно новая жизнь началась.

Сводом каменным кажется небо,
Уязвленное желтым огнем,
И нужнее насущного хлеба
Мне единое слово о нем.

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи,—
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

1916. Слепнево

Престольный крест, подаренный мною А. А., оставил след в ее стихах:

Когда в мрачнейшей из столиц
Рукою твердой, но усталой,
На чистой белизне страниц
Я отречение писала,

И ветер в круглое окно
Вливался влажною струею,—
Казалось, небо сожжено
Червонно-дымною зарею.

Я не взглянула на Неву,
На озаренные граниты,
И мне казалось — наяву
Тебя увижу, незабытый.

Но неожиданная ночь
Покрыла город предосенний.
Чтоб бегству моему помочь,
Расплылись пепельные тени.

Я только крест с собой взяла,
Тобою данный в день измены,—
Чтоб степь полынная цвела,
А ветры пели, как сирены.

И вот, он на пустой стене
Хранит меня от горьких бредней,
И ничего не страшно мне
Припомнить,— даже день последний.

1916, август
Песочная Бухта

Меня оставили в Англии, и я вернулся в Россию только в конце 1916 года и то на короткое время. Январь 1917 года я провел в Петрограде и уехал в Лондон с первым поездом после революции Керенского. В ответ на то, что я говорил, что не знаю, когда вернусь в Россию, что я люблю покойную английскую цивилизацию разума (так я думал тогда), а не религиозный и политический бред, А. А. написала:

Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша — сон,
И марево — столица эта.

Ты говоришь — моя страна грешна,
А я скажу — твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина,—
Все искупить и все исправить можно.

Вокруг тебя — и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься.

1 января 1917

И позже в том же году:

Ты — отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни и наши иконы
И над озером тихим сосну.

Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?

Так теперь и кощунствуй и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.

Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь
И в смертельном бою невредим.

Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать.

1917. Слепнево

Революция Керенского. Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с А.А. Она в это время жила в квартире проф. Срезневского, известного психиатра, с женой которого она была очень дружна. Квартира была за Невой, на Выборгской или на Петербургской стороне, не помню. Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов. Помню, посреди реки мальчишка лет восемнадцати, бежавший из тюрьмы, в панике просил меня указать дорогу к Варшавскому вокзалу. Добрел до дома Срезневского, звоню, дверь открывает А. А. «Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах».—«Я снял погоны».

Видимо, она была тронута, что я пришел. Мы прошли в ее комнату. Она прилегла на кушетку. Мы некоторое время говорили о значении происходящей революции. Она волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни.

«Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже.»—«Ну, перестанем говорить об этом». Мы замолчали. Она опустила голову. «Мы больше не увидимся. Вы уедете».—«Я буду приезжать. Посмотрите: ваше кольцо». Я расстегнул тужурку и показал ее черное кольцо на цепочке вокруг моей шеи. А. А. тронула кольцо. «Это хорошо, оно вас спасет». Я прижал ее руку к груди. «Носите всегда».—«Да, всегда. Это святыня»,— прошептал я. Что-то бесконечно женственное затуманило ее глаза, она протянула ко мне руки. Я горел в бесплотном восторге, поцеловал эти руки и встал. А. А. ласково улыбнулась. «Так лучше»,—сказала она.

Сказка о черном кольце
(1917—1936)

Сразу стало тихо в доме,
Облетел последний мак,
Замерла я в долгой дреме
И встречаю ранний мрак.
Плотно заперты ворота,
Вечер черен, ветер тих,
Где веселье, где забота,
Где ты, ласковый жених?
Не нашелся тайный перстень,
Прождала я много дней,
Нежной пленницею песня
Умерла в груди моей.

1917, июль

С первым поездом я уехал в Англию. Я долго носил кольцо на цепочке вокруг шеи.

Война кончилась. Большевики. Голод в России. Я послал две съестные посылки А. А., и единственное известие, которое я получил о ней, была ее официальная карточка с извещением о получении посылки:

Дорогой Борис Васильевич, спасибо,
что меня кормите.
Анна Ахматова

Хотел писать, но меня предупредили, что это может ей повредить, и я оставил эту мысль. Я остался в Лондоне и мало-помалу вернулся к своей работе по мозаике. Как-то раз, раздеваясь, я задел цепочку на шее, она оборвалась, и кольцо покатилось по полу. Я его уложил в ящичек из красного дерева, обитый бархатом внутри, в котором сохранялись дорогие для меня сокровища: военные ордена; золотой портсигар, подаренный мне командиром английского броневого отряда в России Локер-Ламсоном; запонки самоубийцы, которого я похоронил, и другие вещицы. Я собирался отдать исправить цепочку, но не сделал этого. Гумилев, который находился в это время в Лондоне и с которым я виделся почти каждый день, рвался вернуться в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все напрасно. Родина тянула его. Во мне этого чувства не было: я уехал из России в 1908 году и устроил свою жизнь за границей. Перед его отъездом я просил его передать А. А. большую, прекрасно сохранившуюся монету Александра Македонского и также шелковый матерьял на платье. Он нехотя взял, говоря: «Ну, что вы, Борис Васильевич, она все-таки моя жена». Я разинул рот от удивления: «Не глупите, Николай Степанович», сказал я сухо. Но я не знаю, получила ли она мой подарок. Погиб бедный Гумилев! Погиб большой поэт!

Другой поэт и близкий друг, Н. В. Недоброво, заболел туберкулезом почек и его увезли на юг, где он вскоре и умер. Он был большой друг А. А. Помню, я тяжело перенес известие об его смерти. Перед этим я ему написал дикое письмо, из которого помню глупую, но искреннюю фразу: «Дорогой Николай Владимирович, не умирай, ты и Анна Андреевна для меня вся Россия!»

* *
*

Шли годы. В глубине души заживающая рана: как часто я отпирал свой ящичек с драгоценностями и нежно прикладывался к черному кольцу. Носить его я больше не хотел, это казалось мне или святотатством или комедией. Жизнь сосредоточилась на художественной работе, на мозаике. Но

в сердце прошлое смутно жило, и кольцо мысленно было со мной «всегда».

Опять война. Она застала меня в Париже, но я бежал от немцев в тот день, когда они входили в Париж, добрался до Лондона через две недели кружным путем. Немецкие бомбы упали совсем близко от моей студии и разрушили ее. Я потерял сознание, но отошел и выбрался. Это случилось ночью. Наутро вернулся, чтобы спасти что осталось. Не могу найти драгоценного ящичка. Боже! как я рад — вот он! Но что же это? Он взломан и пуст. Злоба к ворам. Стыд. Не уберег святыни, слезы отчаянья наполнили глаза. Почему я не дал кольцо на сбережение в банк? Потому что я хотел иметь его при себе, как пленника, которого я мог видеть, когда хотел. Но я уехал в Париж и не беспокоился о нем. Нет, вина моя, нечего и говорить! Что я скажу, если А. А. спросит?..

В 1945 году и эта война кончилась. Я послал А. А. фотографию в красках моей мозаики Христа: "Cor sacrum". Его грудь вскрыта, и видно Его пламенное Сердце. Я не знал ее адреса и послал в Союз писателей в Ленинграде, с просьбой переслать конверт по ее адресу. На фотографии я написал: «На добрую память». Ответа не было, и я не знал, получила ли она пакет.

Жизнь текла. Я работал в Лондоне, я работал в Париже, я работал в Ирландии. Мозаика требовала много напряжения и тяжелого труда. Благодаря дружескому содействию Г. П. Струве я читал почти все, что А. А. печатала и что печаталось за границей. И эти стихи волновали меня так же сильно, как раньше — может быть, сильнее. Острые страдания, которые я когда-то переживал от потери черного кольца, смягчились мало-помалу в тихую скорбь. Но чувство вины продолжало мучить.

В 1965 году состоялось чествование А. А. в Оксфорде, приехали даже из Америки. Я был в Лондоне, и мне не хотелось стоять в хвосте ее поклонников. Я просил Г. П. Струве передать ей мой сердечный привет и лучшие пожелания, а сам уехал в Париж, где меня ждали, привести в порядок дела, так как я должен был прекратить, по состоянию здоровья, мозаичные работы и проститься со своей парижской студией.

Образ А. А., какою я помнил ее в 1917 году, оставался та-

ким же очаровательным, свежим, стройным, юным. Я спрашивал себя, было ли прилично с моей стороны уехать из Лондона. Я оказался трусом и бежал, чтобы А. А. не спросила о кольце. Увидеть ее? «Мою Россию!» Не лучше ли сохранить мои воспоминания о ней, какой она была? Теперь она международная звезда! Муза поэзии! Но все это стало для меня четвертым измерением.

Так мои мысли путались, стыдили, пока я утром в субботу пил кофе в своей мастерской в Париже. На душе было тяжело...

Громкий звонок. Я привскочил, подхожу к телефону. Густой мужской голос звучно и несколько повелительно спрашивает меня по-русски: «Вы Борис Васильевич Анреп?» — «Да, это я». «Анна Андреевна Ахматова приехала только что из Англии и желает говорить с вами, не отходите».— «Буду очень рад». Через минуту тот же важный голос: «Анна Андреевна подходит к телефону».— «Слушаю».— «Борис Васильевич, вы?» — «Я, Анна Андреевна, рад услышать ваш голос».— «Я только что приехала, хочу вас видеть, можете приехать ко мне сейчас?» — «Сейчас, увы, не могу: жду ломовых, они должны увезти мою мозаику».— «Да, я слышала(?), в пять часов я занята».— «А вы не хотели бы позавтракать со мной или пообедать где-нибудь в ресторане?» — «Что вы, это совсем невозможно(?). Приходите в восемь часов вечера».— «Приду, конечно, приду».

Ломовые не приехали. Весь день я был сам не свой — увидеть А. А., после 48 лет разлуки! и молчания! О чем говорить? Столько было пережито. Сколько страдания! И общего, и личного. Воспоминания болезненно возникали, теснились бессвязно, искаженные провалами памяти. Что я скажу о черном кольце? Что мне сказать? Не уберег сокровища. Нет сил признаться. Принести цветы — банально. Но все-таки пошел в цветочный магазин и заказал послать немедленно букет роз в Hôtel Napoléon, близко от Arc de Triomphe.

Гостиница была полна советскими. Молодая, очень милая девушка подошла ко мне. «Вы господин Анреп?».— «Да».— «Анна Андреевна вас ждет, я проведу вас к ней». Мы подошли к лифту. «Я видела ваши мозаики в Лондоне, мне особенно понравились сделанные вами мозаики в Вес-

тминстерском соборе».— Это была Аня Каминская, внучка Н. Н. Пунина, мужа А. А. Она сопровождала А. А. в ее путешествии.

Мы поднялись на второй этаж, и Аня открыла дверь в комнату А. А. и тотчас же исчезла. В кресле сидела величественная, полная дама. Если бы я встретил ее случайно, я никогда бы не узнал ее, так она изменилась.

«Екатерина Великая», подумал я.

«Входите, Борис Васильевич».

Я поцеловал ее руку и сел в кресло рядом. Я не мог улыбнуться, ее лицо тоже было без выражения.

«Поздравляю вас с вашим торжеством в Англии».— «Англичане очень милы, а „торжество" — вы знаете, Борис Васильевич, когда я вошла в комнату, полную цветов, я сказала себе: «Это мои похороны. Разве такие торжества для поэтов?» — «Это вашим поклонникам нужно, им хочется высказаться, выразить свое уважение».

Мы заговорили о современных поэтах. Только бы не перейти на личные темы! — «Кого вы цените?» А. А. поморщилась и молчала. «Мандельштама, Бродского?» — «О да, Бродский! Ведь он мой ученик».— Она заговорила о Недоброво: «Вы дали его письма к вам Струве. Скажите мне, к каким годам относятся эти письма?» — «Все письма до 1914 года, и в них ничего нет, решительно ничего. А у вас, Анна Андреевна, не сохранились его письма?» — «Я их все сожгла».— «Как жаль».

Я боялся продолжать разговор о Недоброво, но А. А., очевидно, желала этого: «Николай Владимирович был замечательный критик, он прекрасно написал критическую статью про мои стихи, он не только понимал меня лучше, чем кто-либо, но он предсказал дальнейшее развитие моей поэзии. Лозинский тоже писал про меня, но это было не то!»

Я слушал, изредка поддерживал разговор, но в голове было полное безмыслие, сердце стучало, в горле пересохло — вот-вот сейчас заговорит о кольце. Надо продолжать литературный разговор! «А где похоронена Любовь Александровна?» — «Похоронена на кладбище в Сан-Ремо».— «Вы знаете,— сказала А. А. после минуты молчания,— я никогда не читала „Юдифи" Недоброво». Я замер. Она желает

напомнить о 13 феврале 1916 года, когда мы вместе слушали „Юдифь", когда она отдала мне свое черное кольцо! Это вызов! Хорошо,— что-то злое шевельнулось во мне,— я его принимаю. Неужели она не видит, в каком я состоянии? «"Юдифь",— сказал я равнодушно,— очень академично выработанное произведение, весьма искусное стихосложение, но в общем довольно скучное. Все же это вещь достойная внимания, она наверное войдет в собрание его стихотворений, которое, надеюсь, Струве издаст».— «Струве,— отвлеклась А. А.,— он много работает, он литературовед, но он поддерживает холодную войну, а я решительно против холодной войны».— «По-моему, Анна Андреевна, Струве главным образом интересуется современной русской литературой».— «А вы читали „Реквием"?»—«Да, это великое трагическое произведение, написано вашей кровью, больно читать».— «Хотите, я вам прочту свои последние стихи, вы, может быть, сравните их с „Юдифью" Недоброво, они на библейский сюжет: Саул, неверная жена, Давид».

А. А. открыла маленькую записную книжку и певучим голосом стала читать. Певучее чтение мне казалось вытьем, я так давно не слыхал ничего подобного. После «Реквиема» мне казалась вся затея упражнением в стихописании. Я не вникал в слова.— «Ну вот, что́ вы думаете?» — «Как всё — очень хорошо».— «Совсем не хорошо»,— сказала А. А. с раздражением. Я чувствовал, что надо сказать что-то умное, и не мог выжать ни слова. «Очень объективно».— «Да, объективно». Я не знал, что́ можно добавить к этому глупому замечанию, и молчал.— «Как вы живете, Анна Андреевна?» — нашелся я.— «Переводами,— сказала она, поняв мой вопрос в простом материальном смысле.— Я перевожу поэтов древних времен».— «Вы сами переводите?» — удивился я.— «Нет, конечно; несколько специалистов дают мне дословные переводы, я их перекладываю в русские стихи».— «Вы всегда в Ленинграде, где вы отдыхаете?» — «У меня дача в Финляндии, я там отдыхаю. Вы помните, вы прислали мне цветную фотографию вашей мозаики Христа? Она долго была на моем столе, а потом исчезла».— Тут я мог просто сказать, что такая же судьба постигла ее кольцо. Но фотография — одно, кольцо — другое! Я ничего не сказал. Я чувствовал себя не по себе, надо идти.— «Я боюсь

вас утомить, Анна Андреевна, я пойду».—«Нет, нет, мне видеть вас большой отдых, вы совсем не изменились».—Я сгорал от стыда.—«В личное одолжение посидите еще двадцать минут».—«Конечно, Анна Андреевна, сами скажите, когда мне надо уходить».

Разговор не клеился. А. А. чего-то ждала.—«Как вы пережили осаду Ленинграда?»—«Меня спас Сталин (это было известно всем), он благоволил ко мне и прислал за мной самолет, на котором я улетела из Ленинграда. Позднее он свою милость переложил на равнодушие или, может быть, на ненависть».—Опять молчание.—«Ну, теперь идите, благодарю, что пришли. Напишите хоть на Новый год».—А. А. величественно поднялась с кресла, проводила меня до маленькой передней, прислонилась к стене.—«Прощайте». Протянула руку. Внезапный порыв: я поцеловал ее безответные губы и вышел в коридор в полудурмане, повернул не туда, куда надо, добрался кое-как до выхода, долго шел по Champs Elysées и до ночи сидел в кафе.

Тысячу раз я спрашивал себя: зачем? зачем? Трусость, подлость. Мой долг был сказать ей о потере кольца. Боялся нанести ей удар? Глупости, я нанес еще больший удар тем, что третировал ее лишь как литературный феномен. Пока я думал, что́ я еще могу сказать или спросить о поэтах-современниках, она воскликнула: «Борис Васильевич, не задавайте мне, как все другие, этих глупых вопросов!» Ее горячая душа искала быть просто человеком, другом, женщиной. Прорваться сквозь лес, выросший между нами. Но на мне лежал тяжелый гробовой камень. На мне и на всем прошлом, и не было сил воскреснуть.

Во время нашего разговора дверь в соседнюю комнату оставалась приоткрытой, кое-когда был слышен легкий шорох. Кто там? Может быть, политический контроль; может быть, свой человек—не знаю. Это невидимое присутствие было мне неприятно. Было ясно, что кто-то подслушивал наш разговор. Не это ли помешало нашей последней встрече превратиться в теплую, душевную беседу? Я ищу себе оправдания, не так ли? Я его не нахожу.

5 марта 1966 года А. А. скончалась в Москве. Мне бесконечно грустно и стыдно.

Недоброво жили в Царском селе на Бульварной улице, дом 54. После смерти Недоброво его жена Любовь Александровна (урожденная Ольхина) писала М. Волошину: «Меня ужас берет, когда я думаю, что дом наш в Царском разграблен, и его бумаги и тетради уничтожены, а что дом разрушен, я теперь совсем уверена, потому что если хозяина больше нет, то как уцелеть и устоять дому? А до тех пор я как-то верила в сохранность, потому что Его ни разу не коснулась нечистая рука, и я верила, что не посмеет коснуться и того, что было Его и Ему дорого... а обо мне говорили, что я так люблю вещи — больше, чем людей; теперь все равно, лишь бы Его бумаги и портреты уцелели, и письма, какие он дивные письма писал!»

Замысел трагедии «Юдифь» относится к 1905 году, когда Недоброво записал в дневнике: «...Мне в голову пришла идея прекрасной трагедии в стиле французского классицизма. Заглавие: «Юдифь» — стих александрийский. <...> Вообще я разрушу предрассудок, что Олоферн что-то грубое и всклокоченное. Это будет самый изящнейший генерал-губернатор, какого только можно придумать. ... Вся горечь трагедии будет заключаться в том, что в то время как Юдифь будет думать, что она перехитрила Олоферна и великая героиня, публике будет ясно, что великий герой желания — Олоферн, и Юдифь игрушка в его руках, его прихоть». На протяжении десяти лет Недоброво работал над трагедией, переписывал отдельные места, читал некоторые фрагменты Анрепу. В 1914 году при содействии Л. Я. Гуревич он безуспешно пытался заинтересовать трагедией руководство Московского Художественного театра. Трагедия была напечатана посмертно в журнале «Русская мысль» (1923, № 6-8).

Стихотворение Анрепа сохранилось в альбоме Ахматовой, вот его точный текст:

13 февраля

Я позабыл слова, я не сказал заклятья;
По немощной я, глупый, руки стлал,
Чтоб уберечь ее от чар и мук распятья,
Которое ей сам в знак встречи дал.

Вячеслав Вячеславович Срезневский и его жена Валерия Сергеевна жили на Выборгской улице, д. 9.

Подарок Анрепа до Ахматовой дошел.

Имя «Лозинского» как писавшего об Ахматовой здесь, несомненно, возникло по ошибке (может быть, был назван А. Д. Синявский?)

Стихотворение, которое Ахматова читала Анрепу в Париже, по-видимому — «Мелхола».

В рукописи под текстом рукой Б. В. Анрепа было приписано:

Это просто, это ясно,
Это всякому понятно —
Ты меня совсем не любишь,
Не полюбишь никогда...

Анна Ахматова. Из писем к Михаилу Лозинскому

Слепнево. Лето 1917

22 июля

Деревня — сущий рай. Мужики клянутся, что дом (наш) на их костях стоит, выкосили наш луг, а когда для разбора этого дела приехало начальство из города, они слезно просили «матушка барыня, простите, уж это последний раз!» Тоже социалисты!

Прибывающие дезертиры сообщают, что положение дел на войне отличное, и крестьяне им свято верят. О матросах кронштадтцах говорят: «Они за самодержавие»! и вообще тьма кромешная царит в умах.

31 июля

Приехать в Петербург тоже хочется и в Аполлоне побывать! Но крестьяне обещали уничтожить Слепневскую усадьбу 6 августа, потому что это местный праздник и к ним приедут «гости». Недурной способ занимать гостей. Я хожу дергать лен и пишу плохие стихи.

16 августа

Сегодня я получила письмо от Вали Срезневской, которое начинается так: опять, кажется, назрела резня. От таких новостей все делается постылым. <...>

Буду ли я в Париже или в Бежецке, эта зима представляется мне одинаково неприятной. Единственное место, где я дышала вольно, был Петербург. Но с тех пор, как там завели обычай ежемесячно поливать мостовую кровью граждан, и он потерял некоторую часть своей прелести в моих глазах.

Литературное обозрение, 1989, № 5, с. 65-66.

Валерия Срезневская. Из воспоминаний

Как-то Аня пришла и сказала: «Я переезжаю в Шереметевский Дом» — ?? — «Там живет один замечательный человек: знаешь, птица, я считаю его гениальным. Сейчас он тяжко болен. Я буду ухаживать за ним. Приходи к нам».

— Но ведь ты и сама не богатырь? — «Это ничего». Ушла. Дня через два (я очень беспокоилась) я пошла к ней. Лабиринты Шереметевского Дома мало кому известны. Какие-то внутренние дворы, переходы запасных или тайных выходов — лестниц, ведущих через какие-то коридоры — холод, темнота, по стенкам охотничьи трофеи; наконец, дверь: вхожу. Продолговатая комната. Постель. Диван. Круглый большой стол. Все очень странное, тяжелое и мрачное. Настольная лампа горит неярко, оставляя углы большой комнаты в тени.

У стола сидит человек в солдатской шинели. Лицо очень тонкое и правильное, большие недобрые глаза за очками глядят неприветливо. Очень яркий рот криво усмехается. Аня наливает в чашку почти черный крепкий чай. — «Валя, это Владимир Казимирович Шилейко».

Взгляд на меня не чересчур дружелюбный. Но через некоторое время разговором завладел только он. Желчно-остроумен, эрудичен, интересен. Говорит тихо, голову несколько набок. Рассказывает о Египте, Вавилонии, Ассирии. Говорит об Ашурбанипале как о своем современнике: до того просто и увлекательно. Читает на память целую таблицу на ассирийском языке. — «Это не чистая Ассирия. Это уже стык с Вавилонией». Слушаю, восхищаюсь... но, всматриваясь, замечаю большой эгоизм, капризы, подогревает чай: он пьет только очень крепкий и очень горячий. Идем домой вместе (неудовольствие, что она меня провожает). «Ты очень устала, Анику — такая бледная», — «Знаешь, он всю ночь не спит, разбирает свои таблички и несколько раз пьет чай». — «И ты встаешь и греешь и наливаешь?» — «Ну, конечно. Он очень нервный, очень подозрительный и требует к себе безраздельного внимания. Все другие мои отношения и чувства должны быть исключены». Мы расстаемся.

Я иду и думаю: надолго ли хватит у такой свободолюбивой, у такой независимой Ани этого подвига? Жертвы?

Владимир Казимирович Шилейко (1891—1930) — поэт, ассириолог, второй муж Ахматовой, от которого она ушла весной 1921 года.

Владислав Ходасевич. Бесславная слава

Отказ поэта от поэзии может быть следствием двоякого рода причин: или он вытекает из принципиального разуверения в поэзии как подвиге — и тогда мы имеем дело с величайшей внутренней трагедией; или же на такой отказ толкают поэта иные, более внешние, но все же властные обстоятельства: однако и тут мы становимся зрителями тяжелой душевной драмы. Даже не осуществившийся отказ, даже только мысль о нем — и те возникают не иначе как после ряда переживаний, для поэта мучительных.

Порыв к такому отказу, к поэтическому самоубийству, находим в последней книге Анны Ахматовой «Белая стая». Он вылился в пьесу, примечательную во многих смыслах. Чтобы дальше мне быть понятным, выпишу ее целиком:

Тяжела ты, любовная память!
Мне в дыму твоем петь и гореть <...>

В первых двух строчках здесь с совершенной точностью определено отношение жизни поэта к его творчеству, «человека» к «художнику». Человек сгорает в пламени своего переживания,— в данном случае, у Ахматовой, это переживание есть любовь; оно может быть иным, но каково бы ни было по существу, соотношение останется тем же: внутреннее сгорание — и «песня» как его результат. «Священная жертва» его — он сам. Сам над собою заносит он жертвенный нож и знает, что если ему не «гореть», то и не «петь». Свою обреченность «гореть» Ахматова, как и всякий поэт, принимает раз навсегда. В этом отношении первый, сказавший, что поэтом нельзя «сделаться», не договорил до конца: поэтом нельзя сделаться — и нельзя перестать быть. Кто в этом огне начал гореть — сгорит до конца.

Но «петь» он может и отказаться. Потому-то Ахматова не молится: «Угаси это пламя, господи»,— а только просит:

Дай мне выпить такой отравы,
Чтобы сделалась я немой...

Если она это сделает, сможет сделать, решится сделать (ибо тогда ей самой должно решиться еще на многое) — то слушатели ее, те, кто пойдет на звук ее песни, значительно потеряют в количестве, но выиграют в качестве: истинных слушателей почти так же мало, как и поэтов.

У Ахматовой, действительно, «бесславная слава», похожая на моду. Если модниц и модников прогонит она прочь от себя, то эта слава смоется забвением, воистину «осиянным». Говорю это потому, что люблю Ахматову, а поклонников ее не люблю.

Поэт Владислав Фелицианович Ходасевич (1886—1939) несколько раз писал о творчестве Ахматовой, которая, в частности, высоко ценила его рецензию на сборник «Четки» (*Новь,* 1914, № 69). Отклик Ходасевича на выход «Белой стаи» был опубликован в газете «Понедельник Власти народа» (1918, 25 марта); вариант его, оставшийся в рукописи, печатается здесь по журналу «Вопросы литературы», 1987, № 2. Ахматова встречалась с Ходасевичем в 1921—1922 годах, когда он жил в Петрограде и, между прочим, читала ему либретто балета по «Снежной маске» Блока.

Василий Гиппиус. Анна Ахматова

Лет семь тому назад в литературных и поэтических кругах и кружках Петербурга как-то вдруг заговорили о новом и несомненном таланте — Анне Ахматовой. За разговорами пришел и успех, сначала все в тех же кружках, а потом и в публике — вообще, как известно, настолько же скупой на лавры, насколько кружки на них расточительны. И Ахматовой стали рукоплескать не потому, разумеется, что вдруг прозрели или выучились за одну ночь хорошему вкусу. Были различные причины ее успеха. О более глубоких — позже, а пока назову одну из внешних, но важных: литера-

турная улица всегда охотно подхватывает малейший намек на «эпатацию буржуа». В первое мгновение она сама чувствует себя эпатированной, но еще минута, и она понимает, что удобнее и почетнее присоединиться к эпатирующим: ведь союз с недавними врагами всегда был и будет непременным условием жизни улицы во всех ее видах. Элементы эпатации в лирике Ахматовой были, но враги и друзья еще усиливали их. Например, из стихотворения о русалке выхватывали начало: «мне больше ног моих не надо — пусть превратятся в рыбий хвост» — и, глумясь, относили их к автору. Во главе этой враждебно-дружеской улицы шел старый большевик русской критики — Буренин.

«Вечер» — первая книжка Ахматовой — вышел при хороших ауспициях. Лансере нарисовал фронтиспис, Кузмин рекомендовал молодого поэта публике в остроумном, хотя и излишне манерном предисловии. Впрочем, и без рекомендации успех был бы обеспечен. За этот успех испугались те, кто успел уловить в молодом таланте признаки вечной поэзии. Ахматова сразу выделилась из суетливой толпы «молодых» — выделилась и благородством всего поэтического облика, и особенно искренней настроенностью голоса и смелыми приемами стихотворного мастерства. В меткости эпитетов, в экономном — до скупости — расходовании поэтических средств видна была уверенная и искусно-легкая работа, невидная широким кругам «ценителей», но очевидная глазу специалиста.

Мне пришлось быть в числе тех, кто приветствовал в печати выход в свет «Вечера». В моем привете была и боязнь, что поэт, соблазнившись упоительными похвалами, забудет свою, уже явно намечающуюся «большую тему» для эффектных и хорошо ему удающихся пустячков. Опасения эти не сбылись — «большая» лирическая тема окрепла в следующем сборнике — в «Четках» и всеми звуками изобразилась в лучшей книге Ахматовой — в «Белой стае». Словесные игрушки отошли в тень, их заслонили живые создания.

Мало-помалу и дешевый успех стал сменяться серьезным вниманием: за успехом в публике пришел успех в обществе. Настало время спросить: в чем тайна этого успеха? Потому что «общество» притязательнее «публики», хотя его требо-

вания и не те, что у специалистов. За одно художественное совершенство и оно не сделает поэта своим любимцем,— ему нужно, чтобы любимец тронул какие-то его струны и какие-то его задания исполнил.

Чем же притягивают к себе стихи Ахматовой? Не силой мысли — для этого они слишком эмоциональны, не стройностью мировоззрения — для этого они слишком жизненны и хрупки. Я вижу разгадку успеха и влияния Ахматовой (а в поэзии уже появились ее подголоски!) и вместе объективное значение ее лирики в том, что эта лирика пришла на смену умершей или задремавшей форме романа.

Рядовой читатель мог недооценить звукового и ритмического богатства таких, например, строк: «И столетие мы лелеем еле слышный шелест шагов»,— но не мог не плениться своеобразием этих повестей-миниатюр, где в немногих строках рассказана драма. Такие миниатюры — рассказ о сероглазой дочке и убитом короле и рассказ о прощании у ворот, напечатанные в первый же год литературной известности Ахматовой.

Потребность в романе — потребность, очевидно, насущная. Роман стал необходимым элементом жизни, как лучший сок, извлеченный,— говоря словами Лермонтова,— из каждой ее радости, и не только радости. В нем увековечивались и современные сердца с непреходящими особенностями, и круговорот идей, и неуловимый фон милого быта. Ясно, что роман помогает сознательно жить. Но роман в прежних формах, роман, как плавная и многоводная река, стал встречаться все реже, стал сменяться сперва стремительными ручейками, («новелла»), а там и мгновенными гейзерами. Примеры можно найти, пожалуй, у всех поэтов; так, особенно близок современности лермонтовский «роман» — «Ребенку», с его загадками, намеками, недомолвками. В этом роде искусства, в лирическом романе-миниатюре, в поэзии «гейзеров» — Анна Ахматова достигла большого мастерства. Вот один из таких романов:

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся.
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся.

И загадочных, древних ликов
На меня поглядели очи.

Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И сказала его напрасно.
Отошел ты. И стало снова
На душе и пусто и ясно.

Роман кончен. Трагедия *десяти лет* развязана в одном кратком событии, одном жесте, взгляде, слове. Закон экономии средств не позволяет произнести этого слова.

Вот роман, в котором больше действующих лиц и фон более широк и четок:

Там тень моя осталась и тоскует,
В той светло-синей комнате живет...
...И в доме не совсем благополучно:
Огонь зажгут, а все-таки темно...
Не оттого ль хозяйке новой скучно,
Не оттого ль хозяин пьет вино?..

И мне думается, что в поразительном своеобразии, в бесспорной своевременности такого романа — разгадка *хорошего* успеха Ахматовой. Конечно, не этим одним ценна ее поэзия: есть в ней и чисто лирические струны, и звучат они часто и сильно, и нежно. Так, в «Белой стае» лирика даже преобладает над «романом», но и лирические признания кажутся здесь разрозненными страницами какого-то одного романа:

Как невеста получаю
Каждый вечер по письму.
Поздно ночью отвечаю
Другу моему...

Некоторые критики еще при появлении «Вечера» сочли нужным обвинить Ахматову в том, что поэзия ее «миниатюрна» в дурном смысле, т. е. — по содержанию и по чув-

ствам, что автор не умеет выйти из тесноты собственного «я». Критика этого рода нас не обманет: мы знаем из практики, что подобные «знатоки» предпочитают румяна и картонные мечи с ламентациями о страданиях человечества — подлинному искусству и искренним словам о себе. Но и помимо того, обвинение критиков оказалось неосновательным в корне, это подтвердили «Четки», а особенно «Белая стая». В миниатюрах Ахматовой отразилась не только ее душа, но и души ее современников, и быт, и природа (особенно четок и уверен пейзаж в стихах «Белой стаи»). Иногда эти черты соединяются в одной картине — поразительной по правдивости:

И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.

Далеко не всякий реалист сумел бы так кратко, метко и наглядно пояснить старое задание («интеллигенция и народ»). Стихотворения «Белой стаи», в особенности, доказывают, что лиризм Ахматовой, развиваясь, и расширяется, и углубляется до религиозного чувства родины:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Благородство — и душевное и словесное,— этих строк, которые теперь должны стать нашей общей молитвой,— лучший ответ на упреки глухонемых критиков.

Куранты, 1918, № 2.

Сергей Рафалович. Анна Ахматова

Поэт, замкнувшийся в узкий круг интимных переживаний — так принято говорить об Ахматовой, так недавно отозвался о ней автор рецензии, посвященной в одном из тифлисских сборников книжке стихов талантливой местной поэтессы, по поводу которых были упомянуты стихи Анны Ахматовой.

Что так относятся к ней многочисленные ее читатели и читательницы, она сама давно уже знает и не без горькой иронии говорила о том, что своеобразная любовная лирика «Вечера» и «Четок» пришлась по душе «влюбленным гимназисткам». Поэтому она не рассчитывала на успех последнего своего сборника «Белой стаи», поступившего в продажу в октябре прошлого года.

От «Вечера» до «Белой стаи» Ахматова действительно прошла длинный путь развития, направление и достижения которого она как будто предугадывала,— когда зарю своего творчества назвала вечерней зарей.

От вечерних сумерек до сумерек рассветных протянулись нити, которые привели ее к художественной законченности формы и мудрой отточенности мысли и чувства, окрашенных и окрыленных такими настроениями, что она, поистине, имела право назвать свои последние стихи «Белой Стаей»:

Все тебе: и молитва дневная...
И стихов моих белая стая...

Она, как поэт,— никогда не была молода. Своеобразная горькая гримаса была в ее чертах отражением душевного излома и передавалась стихами в виде особого ритма, творимого перебивающимися размерами. Та же неспокойная и, в сущности, тяжелая ужимка сквозь ей одной свойственное сочетание образов, сквозь особый прием пользования окружающим, который так характерен для нее и сразу придал острую индивидуальность ее первым неумелым опытам.

Про Ахматову теперешнюю, далеко ушедшую от той, которая читала свои первые стихи Вячеславу Иванову в его знаменитой «башне», когда ее муж, поэт Гумилев, еще не

признавал ее поэтического дара, про Ахматову «Белой Стаи» можно сказать, что она не изменила прежней, не порвала ни одной из нитей, протянутых тою из души к миру, и как редкое исключение среди поэтов, развивающихся и зреющих в своем творчестве, осталась необычайно собою, поразительно подобной сама себе и в то же время изумительно выросла на наших глазах.

В этом и кроется разгадка того, что ее, с одной стороны, можно называть поэтом, замкнувшимся в узком кругу интимных переживаний, что ее стихи пришлись по вкусу «влюбленным гимназисткам», и что, с другой стороны, самые утонченные и требовательные знатоки и любители поэзии, самые вдумчивые и культурные из современных наших ученых и критиков с таким изощренным вниманием приглядываются к ней, с такой напряженной чуткостью вслушиваются в ее стихи и все увереннее утверждают наличие в них «большого стиля», а ее как большого художника слова.

Узкий круг и большой стиль — возможно ли такое сочетание? А если возможно, то не в смысле ли наполеоновского отзыва о знаменитом в его время опереточном артисте: il est grand dans son genre, mais son genre est petit? [1] Но этот отзыв был умалением, а не возвеличением артиста и с ним никак уже не согласятся, если его применить к Ахматовой, самые ревностные и осмысленные ее почитатели. И они будут правы.

Если перелистать последний ее сборник, «Белую Стаю», не говоря уже о предыдущих двух, то нельзя не заметить, что за несколькими исключениями, такими немногочисленными, что они просто не идут в счет, все стихотворения чисто личного свойства, говорят о поэте и его личных переживаниях, к тому же почти сплошь любовных. И это поражает тем более, что во многих стихотворениях на первом плане как будто находятся краткие, но меткие и четкие описания природы, часов дня, времен года, деревни, города, дома, и не каких-нибудь вообще, а всегда определенных: тверских полей, Павловского парка, Бахчисарая, Петербурга.

---

[1] Он велик в своем жанре, но сам его жанр невелик *(фр.)*.

В особенности Петербурга, которому посвящено столько стихотворений во всех трех сборниках. В списке безымянных, но всегда определенных и реальных объектов любовной лирики Ахматовой Петербург, конечно, занимает видное место, может быть даже наиболее видное и незыблемое.

Но описывает ли она Неву с ее набережной, дворцами, мостами, Царскосельскую статую, осеннюю распутицу в тверской усадьбе, или Бахчисарай, она всегда говорит о себе, исходит из определенного эпизода личной жизни и своих настроений и дум в данный момент.

Вновь подарен мне дремотой <...>

В этом недавнем ее стихотворении (1916-й год) особенно наглядны и первоначальные черты ахматовской манеры и прежде чуждые ей полнозвучность и законченность.

Чтобы оттенить и то и другое, я тут же приведу стихотворение из того же сборника, но тесно примыкающее к ранее изданным:

9 Декабря 1913 года

Самые темные дни в году
Светлыми стать должны.
Я для сравнения слов не найду—
Так твои губы нежны.
Только глаза подымать не смей,
Жизнь мою храня.
Первых фиалок они светлей,
А смертельные для меня.
Вот поняла, что не надо слов,
Оснеженные ветки легки.
Сети уже разостлал птицелов
На берегу реки.

Предметами, природой, погодой пользуются все поэты и в любовной лирике. Но не только для большинства, а решительно для всех это только фон, более или менее удачно выбранный,—обстановка, более или менее гармонирующая

с личными мотивами, более или менее тесно с ней связанная.

У Ахматовой совсем не то. Ни о какой гармонии, связанности, согласованности не приходится говорить. Описания и личные переживания для нее просто — одно — и не только одно в ее восприятии и ощущении, но одно и в ее художественной передаче. Если бы можно было себе представить такую пьесу, где обстановка, декорации, бутафория были бы самыми настоящими действующими лицами, совершенно равноправными людям, изображенным в ней, то она точнейшим образом соответствовала бы ахматовским стихотворениям.

Одинаково остро ее восприятие себя самой и окружающего ее и никакой разницы нет для нее между тем и другим. Как будто необычайная изощренность ее совершенно равномерно распределена между всеми органами восприятия и ощущения, скажем, вкусовые неотделимы от зрительных и слуховых, или от тех, которые мне приходится обозначить как ощущения душевные, за неимением готового термина для них.

Бодлеровский сонет о соответствиях свое полнейшее и совершеннейшее воплощение нашел в ней.

И поэтому никогда нет в ее стихах подчиненности одной темы другой — описания лирике или лирики описанию — но обе темы неотделимы, неразграничиваемы и абсолютно равноценны и по существу и по художественной изобразительности, к ним примененной.

В основе это вполне так даже в первых ее опытах. Но там это скорее намечается как возможность, как общая тенденция, или, впервые, как манера, еще не поддержанная настоящим мастерством.

Последнее приобретается ею чрезвычайно быстро, причем совершенствование идет по двум путям: технического и духовного преодоления.

И опять-таки, оба у Ахматовой на редкость совпадают, до того, что не только кажутся, а прямо-таки становятся одним путем.

Эта характерная особенность Ахматовой привела к тому, что даже узкий круг ее первоначальных чисто любовных мотивов,— к тому же всегда имевших определенный объ-

ект,—странным образом расширялся за пределы обычной любовной лирики. Но внешняя замкнутость ахматовской поэзии, ограниченный ее диапазон, в смысле выбора и трактовки тем, превращается, благодаря исключительным свойствам ее дарования, в нечто беспредельное еще в другом отношении. Великое велико, если уметь увидеть и разглядеть его непосредственно. Но не менее велико оно, если в малом отражении уловить его суть. И только в таком смысле бывает личность адекватна божеству, миг — вечности и каждый уголок земли — вселенной.

Тайна вечных и вещих соответствий нашла себе в ахматовской поэзии живое и художественное воплощение. Но помимо этого самый размер ее таланта и вся она, как определенная индивидуальность, сделали возможным чудо претворения малого в великое и привели ее от влюбленностей к познанию большой любви, от того или другого случайного встречного к человеку, от родной деревни или родного города — к России. И в этом не обобщении и отвлечении, что было бы процессом логическим, интеллектуальным и по существу чуждым ей, как прием творчества и способ переживания,— а углублении душевных эмоций ее первоначальная, детская, обычная, поверхностная и всегда немного формальная вера стала истинной религиозностью, объединившей по-новому и мир и душу, любовь к любимому с любовью к России.

По-прежнему неотделимы, равноправны, равноценны темы, встречающиеся в отдельных стихотворениях, и неизменной осталась ахматовская манера. Но полнозвучнее и законченнее стала ее художественная речь и плавнее. Прежняя горькая гримаса расправилась в просветленной и примиренной скорби, и угловатая ужимка округлилась в иератических движениях торжественных служений.

Все стало новым, хотя все осталось по-прежнему. Опять находим мы, при беглом взгляде на новый сборник, как находили в первых двух, личные переживания поэта в центре тем, на сей раз зачастую мировых, но воспринимаемых не в ином масштабе, чем темы самой обычной будничной жизни. И значительность, которую они приобретают, ни в какой мере не зависит от их самоценности, а исключительно от личной и художественной зрелости поэта.

Касается ли Ахматова России или мировой войны, она это делает, не изменяя прежним своим приемам. И только изредка сила и глубина чувства стирают какую-то последнюю грань между я и не я, и уже не два переживания становятся для нее одним, как обычно, а есть поистине только одно, уже не двуединое, а просто единое в своем трагическом пафосе.

Молитва

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка и друга,
И таинственный песенный дар.

Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

<1915>

Если из предшествовавших общих и кратких указаний можно составить понятие о художественной мысли и речи Ахматовой в процессе их развития, то об эволюции, пережитой ею как человеком, поскольку она нашла отражение в ее творчестве, почти ничего мне прибавить не придется. Сборники Ахматовой всегда в высшей степени автобиографичны. И если ответа на вопросы, диктуемые нескромным любопытством, они не дают, то сущность переживаний и мировоззрений автора раскрывают с беспощадной искренностью. Стоит взять любое стихотворение «Вечера» и «Четок» и сравнить его со следующим стихотвоениями из «Белой Стаи», чтобы сразу увидать с необычайной отчетливостью облики прежней и нынешней Ахматовой.

Широк и желт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на десять лет,
Но все-таки тебе я рада.

8—583

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами —
Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами.
Прости, что я жила скорбя,
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.

\+ \+ \+

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут,
Ждут свиданья, боятся разлуки
И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.

Я сказал в начале этой статьи, что Ахматова как поэт никогда не была молода. Я могу закончить статью утверждением, что как человек Ахматова никогда не была счастлива.

Лирик по природе своего дарования, центр тяжести и жизни и творчества с первых же шагов нашедшая в любви, Ахматова — если судить по трем ее книгам — не только никогда не была счастлива, но пережила настоящую трагедию, которая вещает о себе чуть ли не с каждой страницы «Белой Стаи». Не внешние обстоятельства, не случайности жизненные, не неудачные любовные опыты или несбывшаяся встреча с тем, кто роком предназначен, создали эту трагедию. Все это может вызвать только драму. Трагедия — неизбежность, неизбывность, роковая вина невинной души. Всякий способен пережить драму. Трагедия бывает уделом

только крупной личности. И не спасут от нее ни «таинственный песенный дар», ни слава, ни красота, ни любовь — безответная или взаимная — все равно. Нельзя спастись от трагедии, можно только очиститься ею.

И, несомненно, поняла это Ахматова, ибо назвала свою книгу «Белой Стаей» и заканчивает ее стихотворением, которое действительно звучит не завершающим, но разрешающим трагическим аккордом.

Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой,
Смотрю взволнованно на темные палаты?
Уже привыкшая к высоким чистым звонам,
Уже судимая не по земным законам,
Я как преступница, еще влекусь туда,
На место казни долгой и стыда,
И вижу дивный град и слышу голос милый,
Как будто нет еще таинственной могилы,
Где, день и ночь, склонясь в жары и холода,
Должна я ожидать Последнего суда.

Поэт Сергей Львович Рафалович (1875—1943) написал свою рецензию, опубликованную в тбилисском журнале «Ars» (1919, № 1), в ту пору, когда он был мужем приятельницы Ахматовой Саломеи Андрониковой, которой было посвящено стихотворение Ахматовой 1940 года «Тень» («Современница»). В статье отразились и разговоры с самой Ахматовой, и те рассказы о ней, которые бытовали в петербургской среде, к которой принадлежали Ахматова и Андроникова.

\+ \+ \+

Сразу стало тихо в доме,
Облетел последний мак,
Замерла я в долгой дреме
И встречаю ранний мрак.

Плотно заперты ворота,
Вечер черен, ветер тих.
Где веселье, где забота,
Где ты, ласковый жених?

Не нашелся тайный перстень,
Прождала я много дней,
Нежной пленницею песня
Умерла в груди моей.

\+ \+ \+

Ты — отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну.

Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?

Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.

Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.

Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать.

Слепнево

\+ \+ \+

Просыпаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты
На зеленую волну,
Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пушистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чем,
Но, предчувствуя свиданье
С тем, кто стал моей звездою,
От соленых брызг и ветра
С каждым часом молодеть.

\+ \+ \+

И в тайную дружбу с высоким,
Как юный орел темноглазым
Я, словно в цветник предосенний,
Походкою легкой вошла.
Там были последние розы,
И месяц прозрачный качался
На серых, густых облаках...

\+ + +

Словно ангел, возмутивший воду,
Ты взглянул тогда в мое лицо,
Возвратил и силу и свободу,
А на память чуда взял кольцо.
Мой румянец жаркий и недужный
Стерла богомольная печаль.
Памятным мне будет месяц вьюжный,
Северный встревоженный февраль.

Царское Село
1916

\+ + +

Когда о горькой гибели моей
Весть поздняя его коснется слуха,
Не станет он ни строже, ни грустней,
Но, побледневши, улыбнется сухо.
И сразу вспомнит зимний небосклон
И вдоль Невы несущуюся вьюгу,
И сразу вспомнит, как поклялся он
Беречь свою восточную подругу.

1917

\+ + +

А ты теперь тяжелый и унылый,
Отрекшийся от славы и мечты,
Но для меня непоправимо милый,
И чем темней, тем трогательней ты.

Ты пьешь вино, твои нечисты ночи,
Что наяву не знаешь, что во сне,
Но зелены мучительные очи,—
Покоя, видно, не нашел в вине.

И сердце только скорой смерти просит,
Кляня медлительность судьбы.
Все чаще ветер западный приносит
Твои упреки и твои мольбы.

Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей.

Так дни идут, печали умножая.
Как за тебя мне Господа молить?
Ты угадал: моя любовь такая,
Что даже ты ее не мог убить.

\+ \+ \+

Пленник чужой! Мне чужого не надо,
Я и своих-то устала считать.
Так отчего же такая отрада
Эти вишневые видеть уста?

Пусть он меня и хулит и бесславит,
Слышу в словах его сдавленный стон.
Нет, он меня никогда не заставит
Думать, что страстно в другую влюблен.

И никогда не поверю, что можно
После небесной и тайной любви
Снова смеяться и плакать тревожно
И проклинать поцелуи мои.

\+ \+ \+

Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проживу...
Сосен дрогнули верхушки,
Желтый луч упал в траву.

Но ни звука в чаще свежей...
Я иду домой,
И прохладный ветер нежит
Лоб горячий мой.

\+ \+ \+

По неделе ни слова ни с кем не скажу,
Все на камне у моря сижу,
И мне любо, что брызги зеленой волны,
Словно слезы мои, солоны.
Были весны и зимы, да что-то одна
Мне запомнилась только весна.
Стали ночи теплее, подтаивал снег,
Вышла я поглядеть на луну,
И спросил меня тихо чужой человек,
Между сосенок встретив одну:
«Ты не та ли, кого я повсюду ищу,
О которой с младенческих лет,
Как о милой сестре, веселюсь и грущу?»
Я чужому ответила: «Нет!»
А как свет поднебесный его озарил,
Я дала ему руки мои,
И он перстень таинственный мне подарил,
Чтоб меня уберечь от любви.
И назвал мне четыре приметы страны,
Где мы встретиться снова должны:
Море, круглая бухта, высокий маяк,
А всего непременней — полынь...
И как жизнь началась, пусть и кончится так.
Я сказала, что знаю: аминь!

\+ \+ \+

Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем.
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.

Запрещаешь петь и улыбаться,
А молиться запретил давно.
Только б мне с тобою не расстаться,
Остальное все равно!

Так, земле и небесам чужая,
Я живу и больше не пою,
Словно ты у ада и у рая
Отнял душу вольную мою.

1917. Декабрь

\+ \+ \+

Проплывают льдины, звеня,
Небеса безнадежно бледны.
Ах, за что ты караешь меня,
Я не знаю моей вины.

Если надо — меня убей,
Но не будь со мною суров.
От меня не хочешь детей
И не любишь моих стихов.

Все по-твоему будет: пусть!
Обету верна своему,
Отдала тебе жизнь, но грусть
Я в могилу с собой возьму.

\+ \+ \+

В каждых сутках есть такой
Смутный и тяжелый час.
Громко говорю с тоской,
Не раскрывши сонных глаз,
И она стучит, как кровь,
Как дыхание тепла,
Как счастливая любовь,
Рассудительна и зла.

\+ + +

Земная слава как дым,
Не этого я просила.
Любовникам всем моим
Я счастие приносила.
Один и сейчас живой,
В свою подругу влюбленный,
И бронзовым стал другой
На площади оснеженной.

\+ + +

Это просто, это ясно,
Это всякому понятно,
Ты меня совсем не любишь,
Не полюбишь никогда.
Для чего же так тянуться
Мне к чужому человеку,
Для чего же каждый вечер
Мне молиться за тебя?
Для чего же, бросив друга
И кудрявого ребенка,
Бросив город мой любимый
И родную сторону,
Черной нищенкой скитаюсь
По столице иноземной?
О, как весело мне думать,
Что тебя увижу я!

\+ + +

О нет, я не тебя любила,
Палима сладостным огнем,
Так объясни, какая сила
В печальном имени твоем.

Передо мною на колени
Ты стал, как будто ждал венца,
И смертные коснулись тени
Спокойно-юного лица.

И ты ушел. Не за победой,
За смертью. Ночи глубоки!
О, ангел мой, не знай, не ведай
Моей теперешней тоски.

Но если белым солнцем рая
В лесу осветится тропа,
Но если птица полевая
Взлетит с колючего снопа,

Я знаю: это ты, убитый,
Мне хочешь рассказать о том,
И снова вижу холм изрытый
Над окровавленным Днестром.

Забуду дни любви и славы,
Забуду молодость мою,
Душа темна, пути лукавы,—
Но образ твой, твой подвиг правый
До часа смерти сохраню.

\+ + +

Я слышу иволги всегда печальный голос
И лета пышного приветствую ущерб,
А к колосу прижатый тесно колос
С змеиным свистом срезывает серп.

И стройных жниц короткие подолы,
Как флаги в праздник, по ветру летят.
Теперь бы звон бубенчиков веселых,
Сквозь пыльные ресницы долгий взгляд.

Не ласки жду я, не любовной лести
В предчувствии неотвратимой тьмы,
Но приходи взглянуть на рай, где вместе
Блаженны и невинны были мы.

\+ + +

Как страшно изменилось тело,
Как рот измученный поблек!
Я смерти не такой хотела,
Не этот назначала срок.
Казалось мне, что туча с тучей
Сшибется где-то в высоте,
И молнии огонь летучий
И голос радости могучей,
Как Ангелы, сойдут ко мне.

\+ + +

Я окошка не завесила,
Прямо в горницу гляди.
Оттого мне нынче весело,
Что не можешь ты уйти.
Называй же беззаконницей,
Надо мной глумись со зла:
Я была твоей бессонницей,
Я тоской твоей была.

\+ + +

Эта встреча никем не воспета,
И без песен печаль улеглась.
Наступило прохладное лето,
Словно новая жизнь началась.

Сводом каменным кажется небо,
Уязвленное желтым огнем,
И нужнее насущного хлеба
Мне единое слово о нем.

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи,—
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

\+ + +

И вот одна осталась я
Считать пустые дни.
О вольные мои друзья,
О лебеди мои!

И песней я не скличу вас,
Слезами не верну,
Но вечером в печальный час
В молитве помяну.

Настигнут смертною стрелой,
Один из вас упал,
И черным вороном другой,
Меня целуя, стал.

Но так бывает: раз в году,
Когда растает лед,
В Екатеринином саду
Стою у чистых вод

И слышу плеск широких крыл
Над гладью голубой.
Не знаю, кто окно раскрыл
В темнице гробовой.

\+ + +

От любви твоей загадочной,
Как от боли, в крик кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу.

Новых песен не насвистывай,—
Песней долго ль обмануть,
Но когти, когти неистовей
Мне чахоточную грудь,

Чтобы кровь из горла хлынула
Поскорее на постель,
Чтобы смерть из сердца вынула
Навсегда проклятый хмель.

\+ + +

Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.

Еще на западе земное солнце светит
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят.

\+ + +

Теперь никто не станет слушать песен.
Предсказанные наступили дни.
Моя последняя, мир больше не чудесен,
Не разрывай мне сердца, не звени.

Еще недавно ласточкой свободной
Свершала ты свой утренний полет,
А ныне станешь нищенкой голодной,
Не достучишься у чужих ворот.

\+ + +

По твердому гребню сугроба
В мой белый, таинственный дом,
Такие притихшие оба,
В молчании нежном идем.
И слаще всех песен пропетых
Мне этот исполненный сон,
Качание веток задетых
И шпор твоих легонький звон.

\+ + +

Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит,
Мурка серый, не мурлычь,
Дедушка услышит.
Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?

\+ + +

Теперь прощай, столица,
Прощай, весна моя,
Уже по мне томится
Корельская земля.

Поля и огороды
Спокойно зелены,
Еще глубоки воды
И небеса бледны.

Болотная русалка,
Хозяйка этих мест,
Глядит, вздыхая жалко,
На колокольный крест.

А иволга, подруга
Моих безгрешных дней,
Вчера вернувшись с юга,
Кричит среди ветвей,

Что стыдно оставаться
До мая в городах,
В театре задыхаться,
Скучать на островах.

Но иволга не знает,
Русалке не понять,
Как сладко мне бывает
Его поцеловать!

И все-таки сегодня
На тихом склоне дня
Уйду. Страна Господня,
Прими к себе меня!

\+ \+ \+

Ждала его напрасно много лет.
Похоже это время на дремоту.
Но воссиял неугасимый свет
Тому три года в Вербную субботу.
Мой голос оборвался и затих —
С улыбкой предо мной стоял жених.

А за окном со свечками народ
Неспешно шел. О, вечер богомольный!
Слегка хрустел апрельский тонкий лед,
И над толпою голос колокольный,
Как утешенье вещее, звучал,
И черный ветер огоньки качал.

И белые нарциссы на столе,
И красное вино в бокале плоском
Я видела как бы в рассветной мгле.

Моя рука, закапанная воском,
Дрожала, принимая поцелуй,
И пела кровь: блаженная, ликуй!

НОЧЬЮ

Стоит на небе месяц, чуть живой,
Средь облаков струящихся и мелких,
И у дворца угрюмый часовой
Глядит, сердясь, на башенные стрелки.

Идет домой неверная жена,
Ее лицо задумчиво и строго,
А верную в тугих объятьях сна
Сжигает негасимая тревога.

Что мне до них? Семь дней тому назад,
Вздохнувши, я прости сказала миру.
Но душно там, и я пробралась в сад
Взглянуть на звезды и потрогать лиру.

\+ \+ \+

Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
А мы живем как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.

\+ \+ \+

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И непохожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

\+ + +

Бывало, я с утра молчу
О том, что сон мне пел.
Румяной розе и лучу
И мне — один удел.
С покатых гор ползут снега,
А я белей, чем снег,
Но сладко снятся берега
Разливных мутных рек.
Еловой рощи свежий шум
Покойнее рассветных дум.

1916

\+ + +

И целый день, своих пугаясь стонов,
В тоске смертельной мечется толпа,
А за рекой на траурных знаменах
Зловещие смеются черепа.

Вот для чего я пела и мечтала,
Мне сердце разорвали пополам,
Как после залпа сразу тихо стало,
Смерть выслала дозорных по дворам.

\+ \+ \+

Ты мог бы мне сниться и реже,
Ведь часто встречаемся мы,
Но грустен, взволнован и нежен
Ты только в святилище тьмы.
И слаще хвалы серафима
Мне губ твоих милая лесть...
О, там ты не путаешь имя
Мое. Не вздыхаешь, как здесь.

\+ \+ \+

Когда в тоске самоубийства,
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

\+ + +

Проводила друга до передней.
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.
Брошена! Придуманное слово —
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.

\+ + +

Покинув рощи родины священной
И дом, где муза, плача, изнывала,
Я, тихая, веселая, жила
На низком острове, который, словно плот,
Остановился в пышной Невской дельте.
О, зимние таинственные дни,
И милый труд, и легкая усталость,
И розы в умывальном кувшине!
Был переулок снежным и недлинным.
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм Святой Екатерины.
Как рано я из дома выходила,
И часто по нетронутому снегу,
Свои следы вчерашние напрасно
На бледной, чистой пелене ища,
И вдоль реки, где шхуны, как голубки,
Друг к другу нежно, нежно прижимаясь,
О сером взморье до весны тоскуют,—
Я подходила к старому мосту.
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом,
И жаловался весело, то грустно
О радости небывшей говорил.

Как в зеркало, глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
Чтоб видеть снег, Неву и облака,—
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.

ЗАРЕ

(С португальского)

Тот счастлив, кто прошел среди мучений,
Среди тревог и страсти жизни шумной,
Подобно розе, что цветет бездумно,
И легче по водам бегущей тени.
Так жизнь твоя была чужда заботе,
Как тонкий сон, но сладостный и нежный:
Проснулась... улыбнулась... и небрежно
Вернулась ты к нарушенной дремоте.

Июль 1920

Борис Эйхенбаум. Роман-лирика

(Подорожник. Стихотворения Анны Ахматовой. Пг., 1921)

Покой Твоей души — и доброй и высокой,
Да будет нерушим в Тверской земле жестокой.
И стая белая Твоих волшебных птиц
Крылами осенит верхи Твоих светлиц.

Новый сборник Ахматовой — неожиданный весенний подарок. С 1917 года, когда вышла «Белая стая», мы не слышали ее голоса, давно ставшего нам близким и милым. Она — та же. Тот же голос — то молитвенный и строгий, то частушечный и надрывный. Ахматова — одно из достижений русской лирики. Искать новых путей ей уже не надо — она может и должна развивать и укреплять то, что ею найдено.

Поэзия Ахматовой — сложный лирический роман. Мы можем проследить разработку образующих его повествовательных линий, можем говорить об его композиции, вплоть до соотношения отдельных персонажей. При переходе от одного сборника к другому мы испытывали характерное чувство интереса к сюжету — к тому, как разовьется этот роман. В «Четках» можно видеть обдуманное расположение материала как бы по главам. То же в «Белой стае». Как в настоящем романе — сопоставлены контрастные эмоции, как бы нейтрализующие друг друга и создающие впечатление своеобразного эпического лиризма. «Подорожник» — если не новая часть, то новая глава этого романа. Это чрезвычайно важно. Это — совсем новое и очень серьезное явление. Тут — не просто собрание лирических новелл, а именно роман, с параллелизмом и переплетением линий, с перебоями и отступлениями, с постоянством и определенностью действующих в нем лиц. Образование такой сю-

жетной лирики — последнее слово современного лирического искусства и, думается мне, зарождение тех элементов, из которых должен возникнуть новый эпос, новый роман. Традиционная лирика отдельных, замкнутых в себе «настроений» временно исчерпана и падает — ей суждено остаться на вторых путях, чтобы когда-нибудь в будущем возродиться в новых формах. В пределах самого лиризма Ахматова преодолевает традицию, насыщая лирику сюжетной конкретностью. В этом смысле она — не менее революционное в искусстве явление, чем Маяковский. С разных сторон и разными приемами они ликвидируют изношенные, дурные традиции. Особенно интересно поэтому, что они, при всей своей полярности, сходятся в тяготении к частушке. Очень тонко, почти неуловимо, но через все творчество Ахматовой проходит усвоение и канонизация частушки — в словах, в синтаксисе, в интонации более всего. Это одна из характернейших особенностей ее стиля. Недаром восклицала она: «Лучше б мне частушки задорно выкликать». Она и в самом деле выкликает. Она вытесняет песенную лирику и, впитывая в себя частушку, делает лирику повествовательной, сюжетной, сплетая из маленьких новелл большой роман.

Я говорю наспех, это большая тема. Но важнее бывает высказать мысль, чем ее аргументировать. Я даже не хочу приводить цитат — рецензия тоже имеет свои дурные традиции. «Подорожник» — *продолжение* романа, развитие и укрепление знакомых нам по прежним сборникам повествовательных мотивов. Мотив несчастной любви завершен — на смену ему выступает мотив загадочной, суровой любви. Около этого нового сюжетного ядра сгущается лирическое напряжение сборника. Является новый герой — «высокий, как юный орел темноглазый», введенный таинственно и жутко звучащим семистишием. Но главный герой «Четок» и «Белой стаи» не пропал — он теперь фигурирует как «отступник», как «пленник чужой». С новой темой суровой любви, трактованной в частушечных, почти визгливых тонах, сплетаются темы монашеские — ухода, отречения, прощания с миром, предчувствия смерти. Монашеский облик героини, осложненный прежде русалочьими мотивами, дорисован здесь до резкой отчетливости, хотя сохрани-

лись знакомые нам детали ее образа — широкая муфта, пушистый мех, лиловеющий шелк, доходящая до бровей челка. Прекрасный контраст к частушечным стихам — торжественные стихи о современности, написанные в высоком стиле. Особенно одно — со строгим делением на два восьмистишия, со словарем почти в духе Хомякова. В композиции ахматовского романа эти стихи — точно начала и концы глав или отступления.

Ограничусь этим, потому что надо ограничиться главным. Жаль, что на обложке «Подорожника», украшенной неприятной желтой рамкой, симметрично рассыпаны какие-то стрелки и черточки, среди которых извивается название. Хочется гораздо более простой и строгой обложки. Необходимо исправить одну серьезную опечатку — серьезную, потому что она не сразу бросается в глаза: «тревог», а не «забот».

Четверостишие было написано Борисом Эйхенбаумом в альбом Ахматовой 30 апреля 1917 года перед предстоящим ее отъездом в Слепнево. Последний стих имел вариант, который находим в дневнике Эйхенбаума — «Да охранит дворец последней из цариц». Рецензия Эйхенбаума напечатана в журнале «Вестник литературы», 1921, № 6—7.

Корней Чуковский. Из дневника

1920

19 января. Вчера — у Анны Ахматовой. Она и Шилейко в одной большой комнате,— за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой крикливый резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке ласково — иногда подходит и ото лба отметает волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами — a livre ouverte — целую балладу,— диктует ей прямо набело! «А потом впадает в лунатизм».

25 января. Мороз ужасный. Дома неуютно. Вечером я надел два жилета, два пиджака и пошел к Анне Ахматовой.

Она была мила. Шилейко лежит больной. У него плеврит. Оказывается, Ахматова знает Пушкина назубок — сообщила мне подробно, где он жил. Цитирует его письма, варианты. Но сегодня она была чуть-чуть светская барыня; говорила о модах: а вдруг в Европе за это время юбки длинные или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году — на моде 1916 года.

30 марта. На днях Гржебин звонил Блоку: «Я купил Ахматову». Это значит: приобрел ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, которое ей внезапно понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же — к Гржебину и продала Гржебину свои книги за 75 000 рублей.

Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из «Всемирной». Первый раз вижу их обоих вместе... Замечательно — у Блока лицо непроницаемое, и только движется, все время зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но там было высказано много.

1921

3 февраля. Вчера в Доме ученых встретил в вестибюле Анну Ахматову: весела, молода, пополнела! «Приходите ко мне сегодня, я вам дам бутылку молока — для вашей девочки». Вечером забежал к ней — и дала! Чтобы в феврале 1921 года один человек предложил другому — бутылку молока!

Подборка записей К. Чуковского об Ахматовой напечатана Е. Ц. Чуковской в «Новом мире» (1987, № 3). Здесь назван издатель Зиновий Исаевич Гржебин, после конфликта Ахматовой с которым издание ее книг в его издательстве расстроилось.

СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ БЛОКА

Михаил Кузмин. Из дневника

8 августа 1921

<...> Дома застал Саню и Рождественского, читал им. Рассказывали о Блоке, они вчера там были. Пришла О<льга> Н<николаевна> и уговорила нас идти на панихиду. Хорошо сделали, что пошли. Все были. Плачут. Слов<а> «поэт» и «нежность», конечно, неотъемлем<ы> от него. Многие оплакивали свое прошлое, целую полосу артистической жизни и свою, м<ожет> б<ыть>, близкую смерть. Заплаканные женщины. Трепанная Дельмас рядом со строгой вдовой Блока и Белый, и Ол<ьга> Афан<асьевна>, и Ахматова, и Анненков на первом плане, вроде фотографа Буллы, Бруни, Канкарович, Ершов, Лурье — все. Радловы, Тяпа. Удивленные, растерянные и заплаканные лица. Солнце, маленькие-комнаты, старые домики, луг на берегу канавы, ладан и слова панихиды. Еле дошли домой.

10 августа 1921

С утра бегали на Ник<олаевский> мост. Ждали. Погода чудесная. Несут открытым. Попы, венки, народ. Были все. Скорее можно перечислить отсутствующих. Белый во главе, что и понятно, но Анненков и Лурье до неприличия выпячивались на первое место, как фотографы. Шел то с Радловой, то с Блохами. Они милы, скромны и домашни. На кладбище праздник Смоленской Божьей матери. Служили хорошо, но в виде hommage'a[1] пели Чайковского. Как изменился Блок. Как страшно и какой дух тленья. Его передержали и пекли

---

[1] Дань уважения *(фр.)*.

на солнце. Тепло, деревья, все мило для последнего взгляда. Много и праздного народа, спрашивают, кто это Блок.<...> Долго шли.

В. А. Зоргенфрей. Из воспоминаний

Все, что сопутствовало болезни и умиранию А. А. и что подлежит обнародованию, будет обнародовано его близкими. Мне остается сказать несколько слов о мертвом Блоке.

Я увидел его в шестом часу вечера 8 августа, на столе, в той же комнате на Офицерской, где провел он последние месяцы своей жизни. Только что сняли с лица гипсовую маску. Было тихо и пустынно-торжественно, когда я вошел; неподалеку от мертвого, у стены, стояла, тихо плача, А. А. Ахматова; к шести часам комната наполнилась собравшимися на панихиду.

А. А. лежал в уборе покойника с похудевшим, изжелта-бледным лицом; над губами и вдоль щек проросли короткие темные волосы; глаза глубоко запали, прямой нос заострился горбом; тело, облеченное в темный пиджачный костюм, вытянулось и высохло. В смерти утратил он вид величия и принял облик страдания и тлена, общий всякому мертвецу.

На следующий день, около шести часов вечера, пришлось мне, вместе с несколькими другими из числа бывших в квартире, поднять на руках мертвого А. А. и положить его в гроб. К тому времени еще больше высохло тело, приобретя легкость, несоразмерную с ростом и обликом покойного; желтизна лица стала густой, и темные тени легли в его складках; смерть явственно обозначала свое торжество над красотою жизни.

И — последнее впечатление от Блока в гробу — в церкви на Смоленском кладбище, перед выносом гроба и последним целованием: темнеющий под неплотно прилегающим венчиком лоб, слабо приоткрытые, обожженные уста и тайна неизбытой муки в высоко запрокинутом мертвом лице.

Из письма В. С. Люблинской

На его похоронах была большущая толпа народа. Гроб Его несли с Офицерской улицы до Смоленского кладбища на руках всякие знаменитости — А. Белый, Влад<имир> Вас<ильевич> Гиппиус, ученые, театралы и т. д. <...> Чудная служба в церкви, при которой мне чуть не стало худо, т. к. почти три часа стояла усталая, с натертыми ногами, в страшной толкотне и духоте. Жена его и мать в глубоком трауре, молились, страшно плакали. Цветов была бездна. Он лежал изменившийся, страшно худой, со словно выточенными из кости руками, весь в цветах.

Вдали от себя, в толпе, я вдруг увидала горько плачущую и молящуюся молодую женщину. Лицо ее было так необыкновенно и притягивающе, что я не могла оторвать взгляда от нее. Лицо прекрасное, очень красиво — но совсем необыкновенной, не светской красотой, и я почувствовала, кто это, узнала ее — которую никогда не видала. Это была Анна Ахматова.

Потом, после отпевания, с покойным прощались.

А. Белый подошел, долго и пристально смотрел в лицо Его и поцеловал лоб, причем еле удержался — едва не свалился и сделался мертвенно бледен. Влад<имир> Вас<ильевич> держался стойко, хотя его горе было м. б. сильнее, чем у всех остальных.

Когда Ахматова подошла, поклонилась над Ним и крестилась, слезы текли у нее без удержу, хотя она закрылась вуалью. Потом она поцеловала, как и все делали, его руки. В простом и глухом сером платье, немодной большой шляпе с вуалью — я ее узнала среди тысячной толпы, никогда раньше не видав, и она оставила по себе такое прекрасное впечатление!.. Ты его, родная и не поймешь. Мне казалось, что я первый раз в жизни увидала истинную красоту, и что такая красота поистине «может спасти мир».

В записях Кузмина упоминаются: владелец издательства «Картонный домик» Игнатий Игнатьевич Бернштейн («Саня»; Александр Ивич — 1900—1978); поэт Всеволод Александрович Рождественский (1895—1977), актриса и художница Ольга Николаевна Арбени-

на-Гильденбрандт (1899—1980), адресат нескольких стихотворений Гумилева и Мандельштама; прототип блоковской «Кармен» Любовь Александровна Дельмас (1884—1969), которая спустя сорок пять лет пришла на похороны Ахматовой; Любовь Дмитриевна Блок (1881—1939); Андрей Белый; Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина (1885—1945), прототип героини «Поэмы без героя»; художник Юрий Павлович Анненков (1889—1974), автор портрета Ахматовой; композитор Анатолий Исаакович Канкарович (1885—1956); певец Иван Васильевич Ершов (1867—1943); композитор Артур Сергеевич Лурье (1893—1966), друг Ахматовой; режиссер Сергей Эрнестович Радлов (1892—1958) и поэтесса Анна Дмитриевна Радлова (1891—1951); близкая подруга О. А. Глебовой-Судейкиной Тамара Михайловна Персиц («Тяпа», ум. 1955), которая первой и сообщила Ахматовой о смерти Блока; семья издателя Якова Ноевича Блоха (1892—1968), владельца издательства «Петрополис», в котором выходили сборники Ахматовой.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей (1882—1938) — поэт, близкий друг Блока.

Автор письма с рассказом о похоронах Блока — Вера Сергеевна Люблинская (1905—1917); Владимир Васильевич Гиппиус (1876—1941) — поэт, педагог, брат Василия Гиппиуса.

АРЕСТ И РАССТРЕЛ ГУМИЛЕВА

Августа 5-го дня 1921 г.
В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ
ПО БОРЬБЕ
С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И СПЕКУЛЯЦИЕЙ
ГОРОХОВАЯ, 2

По дошедшим до издательства «Всемирная литература» сведениям, сотрудник его, Николай Степанович Гумилев, в ночь на 4 августа 1921 года был арестован. Принимая во внимание, что означенный Гумилев является ответственным работником в издательстве «Всемирная литература» и имеет на руках неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем расследовании дела и при отсутствии инкриминируемых данных освобождения Н. С. Гумилева от ареста.

Председатель редакционной коллегии
Секретарь

Возможно, что инициатором составления этого письма (опубликованного впервые в журнале «Русская литература», 1988, № 3) был один из руководителей издательства «Всемирная литература» А. М. Горький.

Искры паровоза

Я ехала летом 1921 из Царского Села в Петербург. Бывший вагон III класса был набит, как тогда всегда, всяким нагруженным мешками людом, но я успела занять место, сидела и смотрела в окно на все — даже и знакомое. И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек. Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу. Пошарила в сумке, нашла какую-то дохлую Сафо, но... спичек не было. Их не было у меня и их не было ни у кого в вагоне. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные, красные, еще как бы живые жирные искры с паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать к ним свою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. «Эта не пропадет», — сказал один из них про меня. Стихотворение было: «Не бывать тебе в живых». См. дату в рукописи — 16 августа 1921 (м. б. старого стиля).

\+ + +

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

Николай Волковыский. Дело Н. С. Гумилева

Еще в Советской России попался мне случайно номер, кажется, гельсингфорсской газеты, в которой А. В. Амфитеатров передавал, с моих слов, неполно и не совсем точно, несколько фраз из нашего разговора о Н. С. Гумилеве с председателем Губчека Семеновым. Свой фельетон Амфитеатров без всяких изменений включил в свою недавно вышедшую книжку, которую я прочел уже в Берлине.

Дорогая память Гумилева требует сохранения в точности и во всей полноте всего, что связано с его кровавой гибелью.

Семенов принял нас холодно-вежливо. Руки не подал, стоял все время сам и не предложил нам сесть.

Вершитель судьбы В. Н. Таганцева, Н. И. Лазаревского, Н. С. Гумилева, проф. Тихвинского, скульптора Ухтомского и др.— производил скорее впечатление не рабочего, а мелкого приказчика из мануфактурного магазина. Среднего роста, с мелкими чертами лица, с коротко по-английски подстриженными рыжеватыми усиками и бегающими, хитрыми глазками, он, разговаривая, делал руками характерные округлые движения, точно доставал с полок и разворачивал перед покупательницами кипы сатина или шевиота.

— Что вам угодно?

— Мы пришли хлопотать за нашего друга и товарища, недавно арестованного — Гумилева.

— Кого-с?

— Гумилева.

— Гумилевича?

— Нет, Гумилева, поэта, Николая Степановича Гумилева, известного русского поэта.

— Гумилева? Не слыхал о таком. Он арестован? Не слышал. Ничего не знаю-с. Так в чем же дело?

— Мы крайне поражены его арестом и просим о его освобождении. Это, безусловно, недоразумение: Гумилев никакой политикой не занимался, и никакой вины за ним быть не может.

— Напрасно-с думаете. Я его дела не знаю, но, поверьте, что здесь может быть и не политика-с. Должностное преступление или растрата денег-с...

9—583

— Позвольте. Какое должностное преступление? Какие деньги? Гумилев никаких должностей не занимает: он пишет стихи, и никаких денег, кроме гонорара за эти стихи, не имеет...

— Не скажите-с, не скажите-с... бывает... бывает — и профессора попадаются и писатели... бывает-с... преступление по должности, казенные деньги... случается.

От этой бессвязной болтовни становилось и скучно и жутко. Надо было положить ей конец.

— Не могли бы вы распорядиться, чтобы вам дали справку по делу Гумилева? Его готовы взять на поруки любые организации.

— Справку? С удовольствием.

Берет телефонную трубку.

— Барышня, номер такой-то... Это Семенов говорит. Тут вот делегаты пришли, так узнайте-ка там, арестован у нас Гумилевич?

Мы перебиваем:

— Гумилев, Николай Степанович, писатель, поэт...

— Не Гумилевич, а Гумилев, Николай Степанович. Он кто? (Обращается к нам).

— Писатель, поэт.

— Писатель, говорят. Ты слушаешь, да? Так наведи справку и позвони мне... тут ждут.

Кладет трубку и продолжает нас занимать.

— Бывает-с, и профессора, и писатели попадаются. Что прикажете делать? Время такое-с...

Мы молчим. Он все оживленно говорит.

Звонок.

— Да? Ага... гм... гм... гм... Ну, хорошо.

Кладет трубку. Быстро оборачивается к нам.

— Ваши документы, граждане.

Точно ломом по голове ударил.

— Какие документы? Вы же знаете, кто мы: представители таких-то организаций...

— Ваши документы, пожалуйста.

Начинаем рыться в карманах. На душу сразу упала тоскливая жуть. Один вынимает из бумажника первую попавшуюся записку. Оказывается — разрешение работать в каком-то секретном архиве, подписано «самим» Зиновьевым.

Семенов берет бумажку, не успевает ее прочесть, видит подпись Зиновьева и быстро возвращает.

— Благодарю вас, больше не надо. Так вот-с... (Начинает говорить медленнее), так вот-с... действительно арестован. Дело в следствии. Следствие производится.

— Нельзя ли до окончания следствия освободить на поруки?

— Никак нельзя. Да и к чему? Через несколько дней, через недельку-с следствие закончится. Да вы не беспокойтесь за него: у нас сидится неплохо, и кормим прилично.

— Об этом мы не беспокоимся: ему присылают передачи.

— Тем более-с: раз передачи посылаете, так и совсем хорошо.

— Нельзя ли узнать, по какому делу он арестован?

— Никак нельзя. Что вы? Разве можно выдавать тайну следствия? Никогда не говорят, за что человек арестован... ведь это мешает работе следствия, мешает. И прежде так было, при старом режиме тоже никогда не говорили.

— Положим...

— Уверяю вас. Всегда так было-с. У нас скоро закончится следствие. И вообще, у нас теперь скоро все идет. В месячный срок следователь обязан предъявить обвинение. В месячный срок-с. У нас это строго теперь. В месяц не предъявил (ударяет рукой по столу) — сам в тюрьму. Все равно кто — следователь или комиссар — сам садись. У нас теперь приняты самые строгие меры к охране гарантий прав личности... да-с, к охране гарантий прав личности. Строго-с.

Губы едва дрогнули почти неуловимой иронией.

— Да и чего вам беспокоиться? Если вы так уверены в его невиновности — так и ждите его через неделю у себя. И беспокоиться нечего, раз вы так уверены.

Сердце сжималось от нечеловеческого ужаса. За внешним отсутствием смысла этой болтовни чувствовалось дыхание надвигавшейся смерти.

Едва могли спросить:

— А как же получить справку?

— Через неделю... вы не ходите ко мне, я очень занят, а позвоните ко мне по телефону. Знаете, как? Спросите просто на станции: Губчека, а потом у нас на коммутаторе по-

просите председателя Семенова — вам сразу дадут мой телефон. У нас это просто. Так через неделю позвоните. Прощайте.

Мы ушли раздавленные. Ведь в сущности ничего не было сказано. А в этом «ничего» душа чуяла бездну. Все заметались: подняли на ноги все «связи», телеграфировали в Москву. Неизвестно откуда ворвался слух, связавший два имени — Таганцев и Гумилев.

Гумилев — в заговоре?! Нелепость! Но в этой нелепости вся безысходность ужаса. Гумилев будет расстрелян? Невероятно! Но чем невероятнее, тем ближе к правде.

Через неделю к телефону.

— Барышня, Губчека, пожалуйста... Губчека? Председателя Семенова.

— Семенов у телефона. Кто? А, по делу Гумилева? Послезавтра прочтете в газете.

Трубка повешена. Невероятное неумолимой поступью настигает нас.

Послезавтра — в газете отчет о докладе Семенова в пленуме Петросовета.

Заговор Таганцева... Расстреляны: профессор Таганцев, проф. Тихвинский, профессор Лазаревский, «известный поэт Гумилев»... Это точные слова Семенова.

А. В. Амфитеатров пишет, что мой* короткий рассказ в тесном писательском кружке о нашем разговоре с Семеновым вызвал много смеха.

Память изменила Александру Валентиновичу: с дня нашей встречи с Семеновым смех надолго ушел от нас: еще за неделю до безумного выстрела его похитили едва дрогнувшие иронией губы председателя Чека.

А неделю спустя округлым движением руки приказчик мануфактурной лавки подписал роковой и позорный приговор над поэтом.

А. В. моего имени, учитывая, очевидно, мое пребывание тогда в России, не упоминает, но узнал он обо всем от меня.

Воспоминания бывшего члена правления петроградского Дома литераторов журналиста Николая Моисеевича Волковыского (1881-?) опубликованы в рижской газете «Сегодня» 3 февраля 1923 года.

Пестрые заметки

«Цех поэтов» был задуман осенью 1911 года в противовес «Академии Стиха», где царствовал Вяч. Иванов. Николай Степанович до этого мало знал Городецкого, который вообще был гораздо старше нас всех и уже отведал чулковского «мистического анархизма» и «соборности», как-то очень скоро вышел из моды, перестал быть «солнечным мальчиком» Сережей Городецким и искал очередной спасательный круг (S.O.S.). Первое собрание Цеха (весьма пышное) с Блоком и французами было у Городецкого, второе — у Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой в Манежном переулке. В тот день я познакомилась с Лозинским.

Вскоре возникли беседы о необходимости отмежеваться от символизма, кот<орый>, кстати сказать, уже год тому назад (в 1910 г<оду>) объявил себя в состоянии кризиса. В это время Н<иколай> С<тепанович> писал стихи, вошедшие в сборник «Чужое небо». Итак, своим первым акмеистическим сборником он считал «Чужое небо». «Жемчуга» появились весной 1910 года, т. е. задолго до начала разговоров о новом направлении. В статье-некрологе 1921 г. Георгий Иванов (отзыв на «Огненный Столп») утверждает, что только с «Чужого неба» начался настоящий Гумилев, но даже он замечает единство пути от первой книги до «Огненного Столпа».

В новом издании Блока есть очень интересная запись: «Мы (т. е. символисты) были правы, когда боролись с псевдо-реалистами, но правы ли мы теперь, когда боремся с, может быть, *своим* (курсив мой — *А. А.*) Гумилевым». Время рассудит или, вернее, уже рассудило их, но как это было ужасно, когда эта литературная вражда кончилась одновременной гибелью обоих.

Об аресте Н<иколая> С<тепановича> я узнала на похоронах Блока. «Запах тленья обморочно-сладкий» в моем стихотворении «Страх», написанном ночью 25 августа 1921 относится к тем же похоронам.

О смерти Н<иколая> С<тепановича> я узнала (прочла в газете на вокзале) 1 сентября в Ц<арском> С<еле> , где я жила (против дома Китаевой) в полубольнице, полусанатории и была так слаба, что ни разу не пошла в парк. 15-го сентября я написала «Заплаканная осень».

В то лето горели леса под Петербургом — улицы были полны пахучим желтым дымом (как в 1959). Осенью на Марсовом поле был огромный, уже разоренный огород и тучи ворон. Я, приехав из Ц<арского> С<ела>, пошла (тогда все ходили пешком) в Мраморный к Шилейко (через Марсово поле) — он плакал. (Замечаю, что пишу что-то не то: на двух страницах чуть не 10 тем и все весьма сбивчиво, как теперь любят говорить).

\+ + +

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит...
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.

И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой...
Забвенье боли и забвенье нег —
За это жизнь отдать не мало.

«Академией Стиха» называли Общество ревнителей Художественного Слова при редакции журнала «Аполлон». О первом собрании Цеха поэтов подробно рассказано в дневнике Блока 20 октября 1911 года. Там присутствовали Луи Рео и Поль Буайе, французские исследователи славянского искусства.

В списке шестидесяти одного расстрелянного по делу проф. В. Н. Таганцева говорилось: «Гумилев Н. С. 33 л., филолог, поэт, член коллегии издательства «Всемирной литературы», беспартийный, б. офицер. Содействовал составлению прокламаций. Обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов. Получал от организации деньги на технические надобности» (*Петроградская правда*, 1921, 1 сентября).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В конце 1916 года, в те дни, когда, по воспоминаниям очевидцев эпохи, русскому обществу было как-то совсем не до стихов, Осип Мандельштам написал в одной из своих рецензий, оставшейся неопубликованной в пору ее написания: «Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». Может быть, если бы рецензия тогда увидела свет, автора укоряли бы за то, что из дружеских побуждений он слишком восторженно аттестовал свою соратницу по группе акмеистов. Сегодня слова Мандельштама почти неотличимы на фоне всеобщего читательского признания и поклонения. И сегодня нас скорее удивляет другое — как быстро прошла Ахматова путь от двух-трех эффектных стихотворений, которые вызвали сенсацию в узком кругу столичных литераторов в 1911—1912 годах, до той лирики, которую кроме как к национальной классике никуда не отнесешь.

Попытаемся пройти по этому пути — отчасти хронологически, отчасти следуя за логикой взаимоотношений поэта со своими читателями.

Одним из наиболее бросавшихся в глаза читателям 1910-х годов признаков ахматовской поэзии была «мозаичность» — разорваны смысловые связи между отдельными стихотворениями в сборнике, «сюжетно» разрознены строфы в стихотворении, а полустрофы (двустишия) в строфе отрывочны. Попытки первых читателей установить логические связи между фрагментами и обрывками приводили прямо-таки к комическому эффекту. Так, в одном из первых откликов на «Вечер» начальная строфа стихотворения «Я пришла сюда, бездельница» сопровождалась недоуменным комментарием: «Неужели утончена самая мысль, самый образ?

„Я могу здесь помолчать, не молоть чепухи, потому что за меня будет молоть мельница"». Однако по мере привыкания читателей к ахматовскому миру эта черта стала осознаваться как вполне законная и как свой, ахматовский вклад в искусство поэзии. В послании к автору «Четок» в 1914 году поэт В. А. Комаровский подытоживал литературные достижения адресата, ставшего знаменитым после выхода второй книги:

Вот славы день. Искусно или больно
Перед людьми разбито на куски
И что взято рукою богомольной,
И что дано бесчувствием руки,—

а в стихотворении С. Л. Рафаловича «Расколотое зеркало» вынесенный в заглавие символ стал эмблемой ахматовской поэтики: «... В свое тысячегранное / Глядишься ты стекло. <...> Все крепкое, все гладкое / Неслышно расколов, / Ты нам даришь украдкою / Дразнящий свой улов. / Дроби же мир законченный / В осколки четких фраз, / Чтоб зазвучал утонченно / Насмешливый рассказ. / И все, что жизнь исчерпала — / От злобы до любви — / В расколотое зеркало / Прими и обнови». И в дальнейшем на протяжении 1910-х годов критики продолжали отмечать, что Ахматова «все видит как-то «разрозненно», как-то «случайно», но теперь уже стало понятно, что это особый метод мировосприятия, когда «линия жизни не существует в своей целостности, а рассыпается в тонкий пунктир, в ряд отдельных мгновений. Каждая секунда, каждое восприятие — для нее цельная и замкнутая в себе монада, только случайно соприкасающаяся с соседними восприятиями-монадами» (Д. Выгодский). Ходовым обозначением этого свойства поэзии Ахматовой стало слово «острота»; чтобы понять, что люди десятых годов вкладывали в это слово, воспользуемся одной статьей Вяч. Иванова, крупнейшего литературного теоретика эпохи символизма. Говоря о распаде современной личности, «распыленной психологизмом на атомы переживания», Вяч. Иванов писал о музыкальном искусстве начала века: «...мы ищем обогатить каждое мгновение всею возможною полнотою содержания, большею подчас, чем оно

естественно может вместить, чтобы тотчас изменить ему для следующего. Везде форсировка составных элементов при бессвязности и потому бессилии целого. Но бессвязность и есть руководящее начало современной недугующей души. <...> Кажется, будто видишь перед собой какой-то бег <...> — бег по терниям и шипам, из которых каждый ранит остро, но жгучая боль мгновения стирается укусом следующего мига». Заметим, что, хотя в той же статье (писавшейся в марте — апреле 1912 года) Вяч. Иванов и оговорил, что в лирике «напрасно искать ясных оказательств психологического анархизма и атомизма», не исключено, что впечатления от «Вечера», только что вышедшего в свет, отразились в его рассуждениях по поводу «отрывочности, атомизма и алогизма» (т. е. «психологизма») современного искусства,— ведь и завершалась эта статья полемическим выпадом в адрес «притязающих на титул «молодых», т. е. акмеистов, к которым причислила себя и Ахматова.

Эпитет «острый», разумеется, может встречаться в любом отзыве о поэте нового времени. И особенно распространенным он был в критике 1910-х годов. Б. А. Садовской писал в 1913 году: «...прислушайтесь, как часто говорят теперь об удачных стихах: «Как это остро!» Острота — вот слово, которое получило совсем новую жизнь в области современных поэтических оценок. Лирика стала чуждой крупных замыслов, задачи ее распылились в поисках новых ритмов и новых мелодий». Тем не менее, появление этого слова (или его синонимов) не от случая к случаю, а в подавляющем большинстве отзывов об Ахматовой с 1912 по 1921 год — факт исключительный. И свидетельствует он о том, что читатель 1910-х годов, в свою очередь, остро воспринял «обрывочную форму» Ахматовой, то есть ощутил ее как новаторство. И очевидно, что преодолеть это ощущение разъятости текста могло только очень сильное объединяющее начало.

Отчасти искомое единство заменялось известным стилистическим постоянством Ахматовой, которое поначалу вызывало упреки в самоповторении. Так, Сергей Городецкий писал о «Четках»: «Здесь еще больше прелестных стихотворений, чем в «Вечере». Но всякий прием, как бы хорош он ни был, неприятен, когда он начинает окаменевать и мертветь,

обращаясь в привычный трюк. Изредка бывает это уже и у Анны Ахматовой». То же утверждал и поэт Вадим Шершеневич: «Самое худшее это то, что г-жа Ахматова уже пишет «под Ахматову», уже повторяет себя. К «Четкам» приложены части «Вечера», и это сопоставление лишний раз подтверждает отсутствие прогрессирования». Прошло какое-то время, прежде чем современники поняли, что кажущаяся слабость на самом деле есть признак поэтической силы. После «Белой стаи» начинает преобладать скорее приятие этой стилистической устойчивости — Д. И. Коковцев замечает в 1917 году, что «мы начинаем любить однообразие...», С. Л. Рафалович оговаривает, что если «при беглом взгляде» в «Белой стае» и можно обнаружить те же черты, что и в «Четках», в действительности «все стало новым, хотя все осталось по-прежнему».

Теперь предметом критической придирчивости становится «ахматовская строка» в стихах ее современников, и само возникновение в читательском сознании такого понятия вызвано ощущением уникальности нового голоса, зазвучавшего в русской поэзии. В ряде случаев, когда говорили о «плагиате» из Ахматовой, это объяснялось просто совпадениями слов. Когда Лариса Рейснер писала о строке из Э. Багрицого «О, кофе сладостный, и ты, миндаль сухой», что это «шарж на Ахматову, на ее любовь к вещам и натюрморту», она, возможно, уже слышала в авторском чтении не напечатанное еще стихотворение «Да, я любила их, те сборища ночные» со стихом «Над черным кофеем пахучий, тонкий пар». Когда С. Городецкий находил перепев из Ахматовой в строках «Да, он ушел, надел пальто,/Неловко сгорбившись, как пьяный», он имел в виду стих «Как забуду? Он вышел, шатаясь». Можно указать соответствия и строкам, о которых А. А. Смирнов заметил: «А вот из Ахматовой: «Не позовет, не засмеется,/Но глянет молча, не любя». Но гораздо показательнее случаи, когда обнаруженные критиками «перепевы» нельзя возвести ни к одному конкретному месту в ахматовских стихах. Так, С. Е. Нельдихен расценивал как «ахматовскую» строку «Преломляясь сгибами рук», А. И. Тиняков утверждал: «Да ведь это самый бесспорный и явный перепев, это отголосок на стихи Анны Ахматовой: «Так целуй же меня на прощанье — /Только не в лоб», «Буду

стихи повторять, как псалтырь, /Но никогда не раскаюсь», «Я пью этой ночи бессонной /Отравно-хмельное вино». То же относится и к примерам А. Л. Слонимского: «... звучат совсем по-ахматовски: «Воспоминанье вечно с нами, /Как мы взбегали на мостки, /Качавшиеся под ногами...» или «А чтобы даже крошки не пропали, /Ты в кучку их заботливо мела...» Или к отзыву Марины Цветаевой о стихах Черубины де Габриак: «И лик бесстыдных орхидей/Я ненавижу в светских лицах!» — образ ахматовский, удар — мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня».

О внесловесных приметах «ахматовского стиха» писал в 1921 году Б. М. Эйхенбаум по поводу очередной «женской книги»: «Есть и следы Ахматовой — тоже скорее в синтаксисе, в интонации, чем в словах. Есть такие обороты речи, которые раз навсегда уже связаны с Ахматовой — и ассоциация эта неразрывна».

Явление «ахматовской интонации» поставило вопрос об исключительном и неотъемлемом праве одного автора на определенные стилистические приемы.

Некоторые неизменные правила, встречавшиеся в стихах Ахматовой из сборника в сборник, усиливали ощущение предельного единства ее творчества. Стихи в значительной степени строились на известной предсказуемости. Упрощенно эту особенность выразил один из критических откликов начала 1920-х годов: «Если в первой половине строфы друг сердца, во второй обязательно будет благовещение». Действительно, можно говорить о том, что у нее существует излюбленная последовательность символов. Например, уже раннее стихотворение пятнадцатилетней Анны Горенко «Над черною бездною с тобою я шла...» завершает перечисление примет ночного пейзажа (зарницы, лунный свет, ветер) упоминанием креста:

И крест над могилой забытой стоял,
Белея, как призрак безмолвный...

С иной мотивировкой этот же символ появляется в стихотворении 1913 года «Черная вилась дорога», где он является последним звеном «рассказа»:

Там со мною шедший кто-то
Мне сказал: «Прости...»
Медный крестик дал мне в руки,
Словно брат родной...

Иногда этот символ вводится в середине стихотворения, но тогда конец возвращает к нему, объясняя смысл его появления в данной истории:

Подарили белый крестик
Твоему отцу. <...>
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

Здесь заключение проясняет, что речь шла о боевой награде — георгиевском кресте. В стихотворении «Когда в мрачнейшей из столиц...» значение символа тоже развертывается в конце:

Я только крест с собой взяла,
Тобою данный в час измены <...>
И вот он на пустой стене
Хранит меня от горьких бредней...

Иногда в конец помещается соответствующий жест, не названный прямо, но подразумеваемый (как в стихотворении «Столько просьб у любимой всегда», где он обозначен иносказательно: «И я стану — Христос помоги! — /На покров этот, светлый и ломкий»):

Я к нему протянула ребенка,
Поднял руку со следом оков
И промолвил мне благостно-звонко:
«Будет сын твой и жив и здоров!»

Появление креста в конце текста будет встречаться и в последующем творчестве Ахматовой — от стихотворения «Страх, во тьме перебирая вещи...» до последней строки первой части «Поэмы без героя»: «И виденье скрещенных рук».

Другой частый символ концовки ахматовских стихотво-

рений — «взгляд» или «глаза»: «Что глаза твои вижу во сне я», «Открой бесслезные глаза. /Да озарит мое жилище/ Их неживая бирюза!», «И со мной сероглазый жених», «Как я знаю эти упорные,/ Несытые взгляды твои», «А у нас — светлых глаз /Нет приказу подымать», «И осуждающие взоры /Спокойных загорелых баб», «И опустил глаза», «А глаза глядят уже сурово /В потемневшее трюмо», «Не знали мы, что скоро /В тоске предельной поглядим назад» и т. д. Но часто эта композиция «опрокидывается», «обращается», и этот символ открывает стихотворение: «Безвольно пощады просят/ Глаза...», «Не любишь, не хочешь смотреть», «Как ты можешь смотреть на Неву», «Вижу, вижу лунный лук», «Вижу выцветший флаг над таможней», «Я видел поле после града» и т. д. Частое употребление этих символов в зачинах и концовках привело к тому, что они стали приметой стилевого влияния Ахматовой и, например, о совсем непохожем поэте писали: «... в выборе сюжета Шершеневич убеждает нас в своей близости с Ахматовой <...> любимая женщина воспринимается поэтом, как и Ахматовой, постоянным мельканием глаз и зрачков».

Если у критиков и читателей возникало впечатление исключительной *отобранности* элементов, из которых слагается текст (так, В. Я. Брюсов отмечал: «...внешняя обстановка с немногими, с большой чуткостью выбранными местами»), то это происходило оттого, что сам момент *выбора* был как бы введен в развертывание стихотворения, само стихотворение ощущалось как процесс. Отсюда и ощущение того, что «все стихи Ахматовой, в сущности говоря, ни что иное как вариации на излюбленную, наболевшую тему», как написал один студент в двадцатые годы. На этом фоне повторение одних и тех же слов (например, эпитета «смуглый») создавало представление о некотором единстве характера, о «навязчивых» темах конкретного индивидуума.

Подталкивали к угадываю «подлинного лица» и своего рода «литературные маски», встречавшиеся в ранних стихах Ахматовой.

И был бы, верно, я поэт,
Когда бы выдумал себя,—

говорится в одном из стихотворений учителя Ахматовой — Иннокентия Анненского, который часто говорил молодым писателям: «Первая задача поэта — выдумать себя».

Литературовед Е. С. Добин насчитывал в «Вечере» и «Четках» шесть типов «лирических героинь». Само разнообразие этих типов должно было заставить читателя отказаться от приравнивания автора к рассказчице каждого отдельного стихотворения. Многоликость монологисток тоже могла оформиться в некое «лицо». Вот как описывал это «лицо» Шершеневич: «Эстетствующая любовница, коллекционерка острых чувств. <...> Острота ее чувств является только следствием коллекционирования. Она остро переживает только для того, чтобы в гербарий занести новое, экзотическое ощущение. Она представляет себя в разных платьях, в разных веках, но образ коллекционерки, образ покинутой любовницы просвечивает сквозь все». В этом портрете сегодня для нас существенна не оценка, а ощущение «просвечивающего сквозь все» образа.

Стихи «Вечера» давали столь объемную иллюзию авторского характера, что М. А. Волошин, никогда не видевший Ахматову до этого, летом 1912 года, обдумывая сюжет пьесы из жизни петербургской богемы, намечает как одного из персонажей поэтессу «типа Ахматовой».

Тогда же Борис Лавренев, тоже не видевший Ахматову, создает по стихам ее облик, самим наличием такового противопоставляя ее всем остальным поэтам — сотрудникам «Аполлона»: «В особенности больно смотреть на Анну Ахматову. Как могла она, нежная, исстрадавшаяся, молчаливо-загадочная и жуткая, попасть в ряды этой вымуштрованной роты — для меня представляется непонятным. Не потому ли каждый раз, как она появляется на замерзших страницах «Аполлона», получается впечатление, что в ряды дрессированных бесстрастных кукол <...> попал живой человек, которому непривычно и страшно среди деревянных истуканов и который бьется, нарушает железный фронт и кричит от ужаса».

Читательское восприятие было готово к тому, чтобы претворить ощущение стилистического своеобразия и единства в черты конкретной личности. Оно нуждалось лишь в некоторых толчках, указаниях со стороны «автора» для того, что-

бы дать этой личности какую-то биографию. В этом направлении Ахматова пошла навстречу читательскому ожиданию: в стихи вводится вереница отсылок не только к прошлому автора, известному читателям по предшествующим стихам, но и к такому, которое некогда было «воспето», отразилось и отложилось в каких-то «песнях» и стихах (например, в «детских стихах», упоминаемых в стихотворении «Широк и желт вечерний свет»), оставшихся читателю неизвестными.

Это свойство поэтического мира ранней Ахматовой было отмечено уже в рецензии Е. А. Зноско-Боровского на «Вечер». Говоря о несчастной любви как главной теме сборника, он пояснил: «Восстановить картину этой любви читателю предоставляется по разбросанным там и тут намекам, но она вся в прошлом...» В ахматовских стихотворениях центр интереса не в самих сценах прощания и разлуки, а в предыстории взаимоотношений героев, эпизодах прошлого, упоминаемых участниками событий: «Хорошо, что ты отпустила, /Не всегда ты доброй была», «Шутка /Все, что было ...», «Неужели ты обидишь,/Так, как в прошлый раз». Таково «сюжетное построение» лирической новеллы, таково и развертывание общего «биографического сюжета».

Уже составляя «Четки», Ахматова поместила во вторую часть сборника приложение — стихи из «Вечера», из первой книги, относящиеся к началу ее творчества. Тот же ход в «Белой стае»: завершает книгу поэма «У самого моря», поэма о начале («De principe» — так озаглавил этот раздел сборника М. Л. Лозинский, составивший латинское оглавление «Белой стаи»), но теперь «начало» передвинуто еще дальше в глубь прошлого. (Впоследствии Ахматова применяла сходный принцип обратной хронологической последовательности при подготовке некоторых циклов к публикации, что вызывало недоумение у критиков). Выдвигая события предшествующих периодов своей жизни в «эпилоги» своих книг, Ахматова задавала читателю своего рода «обратное» направление воссоздания «литературной личности».

Периоды соотносились по контрасту. Пора детства и ранней юности, время «до славы», до «Вечера» рисовались как антитеза «нынешнему». Если данная в плане настоящего

времени, соотнесенная с событиями первой мировой войны лирическая героиня Ахматовой могла ассоциироваться с образом «монашенки», то прошлое ее (и автора) изображается как «языческое детство». Этот мотив был взят в статье А. А. Гизетти «Три души» (1917) как ключевой для стихов Ахматовой 1910-х годов. Так, строки

У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла —

А. А. Гизетти толкует в свете этого мотива: «Напрасно кличет она русалку из пруда, умерла русалка, умерла языческая радость жизни». Хотя рассказ героини поэмы «У самого моря», на основе которого А. А. Гизетти построил концепцию «души Анны Ахматовой в начале ее творческого пути» как «язычницы», не давал очевидных оснований для такой концепции («Молилась темной иконке», «Из церкви придя, я сестре сказала»), — направление, в котором Ахматова конструировала историю своей литературной личности, было опознано верно. Неслучайно в позднейшей автобиографии Ахматова обозначила период: «Языческое детство». А в других рассказчица иносказательно называет себя язычницей:

Так дивно знала я земную радость
И праздников считала не двенадцать,
А столько, сколько было дней в году.

Здесь важно помнить, что речь шла не просто о смене возрастных, «биологических» периодов жизни. Биография литературной личности строилась у Ахматовой как воспроизведение истории европейской культуры в жизненном пути одного человека — ведь сценой «языческого детства» был Херсонес, место древнегреческого поселения.

В «предысторийный» период Ахматова относит образование сцепленных, двуединых мотивов, характерных для ее творчества. Так, сплетение и параллелизм тем «поэзии» и «любви» возводится ею к эпизоду встречи с Музой:

Она слова чудесные вложила
В сокровищницу памяти моей.

И <...>
Припала я к земле сухой и душной,
Как к милому, когда поет любовь.

Хотя в критике 1910-х годов и встречается один случай непрочтения аллегорического плана этих стихов (в предвзятой рецензии Д. Л. Тальникова: «Вообще мы узнаем от Ахматовой, что какая-то иностранка ее «учила плавать» в море...»), по-видимому, читатели все же понимали это стихотворение как миф о пробуждении поэтического самосознания. Сходным образом, как иносказательное, облеченное в эпическую форму, авторское признание о том же биографическом переживании воспринималась поэма «У самого моря» — поэт Д. И. Коковцев писал: «Она <Ахматова> показывает нам рождение своего песенного дара. <...> Ранние прикосновения Музы и ранние мечты о «царевиче» сливаются в один певучий бред».

Помещение наиболее значимого, определяющего в судьбе «автора» эпизода (в данном случае: «автор» становится «поэтом») в предысторию было художественным приемом, который Ахматова, опираясь на опыт собственного творчества, обнаруживала и прослеживала в произведениях Пушкина и Достоевского. Следует напомнить, что принцип «обратного движения» времени, который позднее определил построение ахматовской поэмы «Путем всея земли», имевшей одной из временных точек в прошлом тот же эпизод, который разбирался выше («Здесь встретилась с Музой, / Ей клятву даю»), был вообще присущ художественным исканиям поколения. Он, например, положен в основу сюжета хлебниковской драмы «Мирсконца» (т. е. «Мир с конца»), где от первого действия к последнему персонажи переходят во все более ранние стадии своей жизни.

Инициалы в посвящениях создавали образ «литературной личности» в ее взаимоотношениях с нерасшифрованными, но реальными современниками. Это относится и к датировкам. Ведь указанием на адресата и «героя» стихотворения для читателя могла быть сама дата под текстом. Так, именно вопрос о герое интересовал, по-видимому, М. С. Шагинян, когда она писала о «Колыбельной» (какого года?)». Вступая в игру с читателем (в «борьбу» с ним), Ахматова

идет на проставление сознательно неверных дат. Так, стихотворение «Целый год ты со мной неразлучен», написанное в июле 1914 г. в Слепневе, впервые печатается без даты, хотя и с подписью «Слепнево», в 1915 г., но затем в ряде публикаций Ахматова датирует его то «1914», то «1915».

Стихотворение «Вижу, вижу лунный лук» было впервые напечатано в 1914 году в журнале «Вершины». Во всех последующих сборниках Ахматовой оно печаталось или без даты (а таких случаев у Ахматовой очень мало, и потому они всегда значимы), или с датой «1915».

В обоих этих стихотворениях есть четкий хронологический мотив: «Целый год ты со мной неразлучен» и «В год не мог меня забыть». В игре с читателем важно не столько скрыть адресата и период наиболее интимных отношений с ним, сколько предоставить возможность читателю путем сопоставления разных публикаций как бы «самому» сделать вывод о наличии сокрытой, утаенной любви.

Заглавия, посвящения, даты в соотнесении с «сюжетом», вычитывавшимся из отдельного стихотворения на фоне других, осмыслялись как знаки авторского поведения, как поступки, как следствие выбора. За поступками вставала «литературная личность» Ахматовой. Она не совпадала с личностью Анны Андреевны Гумилевой, урожденной Горенко. У последней «литературная личность» могла заимствовать очень многие «переживания», но многие оставляла без внимания. Лидия Гинзбург, познакомившаяся с Ахматовой в 1920-е годы, заметила: «В ее стихах 10-20-х годов не отразились ее историко-литературные интересы или ее остроумие, блестящее, иногда беспощадное. В быту Анна Андреевна не была похожа на своих героинь». Сходное наблюдение сделала другая мемуаристка, один из самых старых и близких друзей Ахматовой, В. С. Срезневская, которая толкует его в плане личной психологии, а не поэтического творчества: «И почему одна и, казалось бы, мимолетная тень породила почти целый сборник стихов... А другая тень, казалось бы, более страшная, близкая и кровавая,— мелькает то там, то тут, но не ранив сердца. Отчего? «Есть вещи, друг Горацио...» Сквозь всю нашу безоблачную дружбу, которой скоро минет 70 лет, я не все раскрыла в сложной и глубокой внутренней жизни Ахматовой. Уж очень

много нитей переплелось в этой многогранной психике, такой затаенной и необычной даже для меня — смею сказать, ее всегдашнего друга...» В стихи Ахматовой не попали некоторые обстоятельства бытия, но зато казались «списанными с жизни» эпизоды, которым не было никакого соответствия в биографии реального автора стихов. Например, в стихотворении 1917 года «Это просто, это ясно»:

Для чего же, бросив друга
И кудрявого ребенка,
Бросив город мой любимый
И родную сторону,
Черной нищенкой скитаюсь
По столице иноземной?
О как весело мне думать,
Что тебя увижу я! —

хотя с момента рождения своего сына до публикации этого стихотворения Ахматова не покидала пределов России.

Это двойничество у Ахматовой претворилось в глубокое осознание различия между эмпирической биографией и исторической судьбой отдельной личности и целого поколения. Черты историзма проявились с максимальной выразительностью в ее позднейшем творчестве, особенно в «Поэме без героя». Но существенно подчеркнуть, что историзм как метод мироотражения возник из самих недр ахматовской поэтики. Различные свойства ее поэтической манеры 1910-х годов представляли благодарную почву для такого метода. Это «документированность» лирического стихотворения, предельная привязка ко времени всего свода стихотворений, последовательное «обратное движение» в лирическом сюжете одного стихотворения и целого сборника, отчужденность автора от своих героинь и даже автора от текста, когда последний ставит перед читателем проблему «истинности» (датировками и посвящениями). За стихами вырисовывался человек в своих конкретных исторических взаимосвязях — с вытекающими из их конкретности умолчаниями и недомолвками. Само наличие таких «пробелов» предполагало историческую значимость личности автора и его героев. В строках «В биографии славной твоей

/Разве можно оставить пробелы?» этот принцип невольно обнажен — ведь само стихотворение этого «пробела» не заполняет. Историческое время ткется у ранней Ахматовой не столько из редких упоминаний значительных общенациональных событий (как в стихотворениях «Июль 1914», «Тот голос с тишиной великой споря...», «Тот август, как желтое пламя...», «Мы на сто лет состарились, и это...»), сколько из умолчаний о других событиях в жизни автора, которые таким образом обретают внеличную значимость. При читательском ощущении «откровенности» ахматовских стихов каждое умолчание предполагало причастность подразумеваемого события к сфере уже не «интимной», а исторической.

И еще об одном следует сказать: русский читатель в начале десятых годов поджидал прихода женщины-поэта, то есть не просто написанных дамой стихов (несколько таких томиков у него уже стояло на полке), а именно новой литературной личности (сам термин предложил когда-то Ю. Н. Тынянов), которая говорила бы от имени безымянного сонма искренних и неумелых, свободных и косноязычных «домашних» поэтесс. В напечатанной через две недели после выхода «Вечера» рецензии на «Волшебный фонарь» Марины Цветаевой внимательный наблюдатель читательских пристрастий Петр Перцов уверял: «... русские поэтессы последних годов симпатичнее русских поэтов: по крайней мере, их поэзия искреннее и свежее... — place aux dames!». И если сопоставительная оценка «по половому признаку» (как шутила в таких случаях Зинаида Гиппиус) может быть оспорена или отнесена к стоящему вне споров «делу вкуса», то выражение читательских чаяний — даже если желаемое выдавалось за действительное — несомненно. Логика развития русской поэзии подводила к нетерпеливому ожиданию сильного женского голоса. За несколько дней до своей кончины Иннокентий Анненский написал: «Лирика стала настолько индивидуальной и чуждой общих мест, что ей н у ж н ы теперь и типы женских музыкальностей. Может быть, она откроет нам даже новые лирические горизонты, эта женщина, уже более не кумир, осужденный на молчание, а наш товарищ в общей, свободной и бесконечно-разнообразной работе над русской лирикой».

Ахматова сама впоследствии говорила об открышемся около 1910 года вакантном месте в русской поэзии: «Судьба захотела, чтобы оно стало моим».

О том, что случилось дальше, размышлял непосредственный свидетель эпохи Г. Адамович: «Удивительное дело, как загипнотизировала Ахматова вот уже скоро на целую четверть века чуть ли не всех русских поэтесс своим любовным томлением, своими краткими и блестяще точными формулировками его, самим тоном своих стихов. В поисках объяснения почти беспримерного ее влияния приходишь к мысли, что, очевидно, Ахматова непогрешимым инстинктом нашла как бы общеженские или средне-женские ноты в творчестве,— и когда читаешь других самобытных женщин-поэтов, Марселину Деборд-Вальмор, например, «плаксивую Марселину», к которой Ахматова порой так близка, или назойливо-красноречивую Анну де Ноай, которая на своем веку среди груды полухлама и полумусора написала несколько прелестнейших стихотворений, когда читаешь их книги, убеждаешься, что женщинам часто случается говорить об одном и том же без всякого взаимного воздействия. Подчеркиваю: случается. О том, что сходство девяноста девяти процентов всего числа молодых русских поэтесс с Ахматовой случайно, речи быть не может: тут влияние несомненно. Но Ахматова-то нисколько не подражала Деборд-Вальмор, и насколько мне известно, даже не читала ее,— она естественно и свободно договорилась до тех же слов,— и потому-то у нее оказалось столько последовательниц, что ее путь природно-естественен — как поэтическая индивидуальность она не менее своеобразна и ярка, чем, скажем, Зинаида Гиппиус или Марина Цветаева, но в ней как бы растворились десятки тысяч женщин,— в то время, как Гиппиус и Цветаева только за себя отвечают, за себя пишут, размышляют и чувствуют».

Кажущиеся иногда бессодержательными толки о каких-то общеженских свойствах лирики Ахматовой подводят нас к проблеме, которая заслуживает внимания с точки зрения исторической поэтики. Когда недоброжелательно отнесшийся к «Четкам» критик Д. Л. Тальников раздраженно писал о «наивном голосе институтки», о перифрастической манере «демонических женщин», он невольно затронул од-

ну из черт авторского задания — сознательного использования оборотов и интонаций особого «женского языка», в существовании которого Ахматова отдавала себе отчет и писала, например, своему корреспонденту в 1907 году: «Пришлите, я буду ужасно (женское слово) рада видеть Ваши стихи». Использование «женских» слов ощущалось ее современниками как сильное, «раздражающее» поэтическое средство. Блок писал ей в 1916 году: «...я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный, самый кроткий» (в «Четках»), постоянные «совсем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу)».

О «женском языке» у Ахматовой, надо полагать, будет написано, но итог возможных дискуссий, по-видимому, предуказан давнишним наблюдением Владислава Ходасевича (1931):

«В наши дни самая одаренная из русских поэтесс, Анна Ахматова, создала как бы синтез между «женской» поэзией и поэзией в точном смысле слова. Но этот синтез лишь кажущийся — Ахматова очень умна: сохранив тематику и многие приемы женской поэзии, она коренным образом переработала и то, и другое в духе не женской, а общечеловеческой поэтики. Там, где случайно это ей менее удавалось, образовывались у Ахматовой срывы. Этим-то срывам, кстати сказать, чаще всего и подражают ее многочисленные подражательницы».

Р. Д. Тименчик

Содержание

II

III

ВОКРУГ «БЕЛОЙ СТАИ»

ПОДОРОЖНИК

ПОСЛЕ «ПОДОРОЖНИКА»

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

ДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Книга подготовлена бригадой в составе:
Белла Соловьева (руководитель бригады),
Тамара Рябикова (редактор),
Александр Белослудцев (художник),
Тамара Селиверстова (художественно-технический редактор)

ИБ № 161

Сдано в набор 30.03.89
Подписано в печать 15.08.89
Формат 70 × 100 1/32
Бумага офсетная
Гарнитура «Универс»
Печать офсетная
Усл. печ. 11,67
Усл. кр.-отт. 23,73
Уч.-изд. 8,47
Тираж 80 000 экз
4000 экз.— собственность издательства МПИ
Тип. заказ № 583
Изд. № 36
Цена 2 руб. 50 коп. (В переплете 3 руб.)

Издательство МПИ.
107045, Москва, Садовая Спасская ул., 6.
Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.


2 р. 50 к.